



**БИБЛИОТЕКА
ПУТЕШЕСТВИЙ
И ПРИКЛЮЧЕНИЙ**

Л. Фомин

**МЫ ИДЕМ
НА КВАРКУШ**

Л. Фомин

МЫ ИДЕМ НА КВАРКУШ



Повесть «Мы идем на Кваркуш» — документальное произведение. В ней нет ничего вымышленного, изменены лишь некоторые фамилии ребят.

Писатель Леонид Фомин вместе с ребятами из Верх-Язьвинской школы Красновишерского района Пермской области совершил трудный переход на альпийские луга горного хребта Кваркуш. Ребята этой школы такой переход совершают каждый год. И не потому, что они заядлые туристы. Нет, они делают большое и нужное дело, помогают родному колхозу — гонят на горные пастбища, на откорм, телят.

В 1964 году на Всеуральском слете юных следопытов, организованном журналом «Уральский следопыт», коллективу учащихся Верх-Язьвинской школы были присуждены первое место и первая премия. Ребятам подарили палатки, транзисторный приемник, вручили кубок и грамоту.

Автор этой книжки, Леонид Аристархович Фомин, живет и работает в Свердловске. Родился в 1932 году в Костромской области в крестьянской семье. С детства работал и учился. Печататься начал в газетах с 1952 года. Его рассказы и повести публиковались в журналах «Урал», «Уральский следопыт», «Пионер», в альманахе «Охотничьи просторы». В 1964 году в Свердловске издал отдельной книжкой повесть «Кокуй-Городок», в том же году в Перми в «Библиотеке путешествий и приключений» вышла его «Лесная повесть».

Художник В. АВЕРКИЕВ.



Не забудьте варетки!

Началось все с газетной заметки. В ней говорилось об альпийских лугах на севере Урала, об учениках одной из школ Пермской области, которые ежегодно с наступлением летних каникул забирают в колхозе молодняк рогатого скота и гонят на эти далекие горные пастбища. Здесь и поход, и большое нужное дело. Мы с Борисом написали письмо организатору этих необычных походов учителю Борковскому, попросили взять в следующий поход нас. Ответ получили короткий и энергичный.

«Пять лет гоняем с ребятами скот на поляны. Собираемся и нынче. Выход из Язьвы зависит от спада воды в горных реках. Вам же идти не советую. Ничего интересного нет: наверху — альпийские луга, горная тундра, а внизу — тайга...»

О самом главном, о том, что об альпийских лугах на Урале мало кто знает, что скот-то гонят ребята, добровольно, безвозмездно,— ни слова.

В конце, уже после того, как письмо, должно быть, полежало, Борковский приписал: «Если все же соберетесь ехать, не забудьте варежки. В селе спросите безрукого учителя...»

Письмами мы обменялись в марте, так что оставалось время подумать и о варежках. Но мы об этом не думали. Не верилось, что в июне потребуются теплая одежда и варежки. Зато привели в боевую готовность палатку, охотничьи ножи, с особой тщательностью зарядили пулевые патроны для тройника. Борис с невыносимой дотошностью осматривал и перематывал свои «редкие», «надежные» лески и поводки. Он утверждал, что в тайге от успешной охоты и рыбной ловли будет зависеть наше благополучие.

Своим чередом шли сборы и приготовления, но чем меньше времени оставалось до отъезда, тем больше меня тревожила одна думка: выдержит ли это трудное путешествие Борис? Фронтвик. Три ранения, тяжелая контузия, нудный, запущенный гастрит — это не шутка. Но он упрям и зол. Сердится, когда я начинаю говорить о его недугах.

— Вражина ты! Ведь ребяташки гоняют скот! Неужели ты думаешь, что я не выдержу?!

И я верю: он выдержит.

Я верю в это еще и потому, что знаю Бориса давно. Знаю его одержимую натуру, крутой нрав и редкую настойчивость в выполнении порученного дела. Помню случай, когда он получил от редакции срочное задание написать очерк об одном леснике. Добираться до лесника надо было сперва на узкоколейном паровозике, а потом, до кордоца, незнакомыми лесными дорогами. Сойдя

с поезда, Борис раздобыл где-то верховую клячу, расспросил, как ехать, и отправился на ночь глядя. Он спешил. К вечеру другого дня очерк должен быть готов.

Долго ли, мало ли он ехал, только вдруг ему показалось, что дорога слишком длинна, и он свернул в прямую на торную тропинку. Стемнело, лошадь стала запинаться, боязливо похрапывать и шарахаться от кустов, и Борис, спешившись, повел ее, упирающуюся, за поводья.

Тропинка завела в болото. Теперь они пробирались по старой тальниковой гати, местами совсем затопленной, прощупывая дно ногами. И вот лошадь запнулась, резко прыгнула в сторону, завязла и начала отчаянно биться, погружаясь в тину. Борис сунул ей под брюхо подвернувшееся гнилое бревешко, а сам побежал на берег за валежником.

До утра старался. В кровь изранил руки, в лохмотья изорвал одежду. Столько сухого вершинника да колод натаскал из леса, что, как говорил сам, «на зиму бы дров хватило...» И вытащил лошадь.

В семь часов приехал к леснику. Не знаю, как уж там было дальше, только вечером в назначенное время Борис принес очерк в редакцию...

В конце мая из Верх-Язьвы пришла телеграмма. Выход назначался на второе июня. По нашим расчетам это было несколько преждевременно. Весь последний день я суматошно носился по учреждениям, оформлял необходимые документы. Борис давно был готов и проклинал меня за нерасторопность. Когда я забежал по какому-нибудь делу к нему, он кричал на меня:

— Копуша!

Отправились с первым попутным поездом и на другой день утром были в Соликамске. До места сбора ос-

тавалось еще сто семьдесят километров. Успеем ли? Теперь все зависело от нашей изобретательности. Дело в том, что с Верх-Язвой постоянной связи нет. Автобус туда может пойти, а может и не пойти, если мало пассажиров. В тот день нас было двое, и автобус не пошел. После долгих мытарств нам все же удалось уговорить шофера разбитого такси сделать дальний рейс. Выехали.

Острыми, золочеными шпильями церкви остался за холмами старинный русский город, последний раз блеснули на солнце широкие разливы Камы. Песчаная ухабистая дорога уводила машину на восток. По сторонам небольшими участками зеленели яровые всходы хлебов, но подступавший со всех сторон лес теснил их, вытягивал в полосы и скоро наглухо закрыл все вокруг, оставив место только для дороги.

Машина затормозила. Шофер повернулся к нам и потребовал:

— Деньги на кон. Чтоб ясно было, кого везу...

Мы рассчитались, но ехали недолго. Машина опять остановилась.

— Не пробраться. Песок!

Борис молча достал деньги и подал еще пять рублей.

Всю дорогу таксист опасался то дождя, то песка, то нехватки горючего. После многих остановок содержимое наших кошельков сократилось на шестьдесят рублей...

Поздно вечером первого июня прибыли в Верх-Язву. Безрукого учителя искать не пришлось: на окраине села группа ребят уже вьючила коней.



Почем фунт мяса?

Среди ребят, хлопотавших около вьюков, еще издали заметили мы двух взрослых. Один в кожаной шапке, в красной дерматиновой тужурке, в закатанных ниже колен болотных сапогах, никак не мог перекинуть через седло беспокойной гнедой лошади связанные мешки. Это был высокий, не очень складный парняга с огромными жилистыми руками и длинными ногами, которого мы почему-то приняли за колхозного бригадира. Другой пониже, худощавый, в черной вельветовой куртке бегал вокруг гарцующей лошади, дергал ее за повод, что-то нетерпеливо подсказывал высокому, сердился, подбирался плечом под тяжелый вьюк. Правый рукав его куртки был забран под ремень.

Неужели это и есть Борковский? Мы представляли Серафима Амвросиевича пожилым, грузноватым, медлительным. И уж думали, что он непременно старожил. Но все вышло наоборот. Борковскому не было на вид и сорока, в нем угадывался подвижный, беспокойный человек.

Позднее мы узнали, что руку он потерял на фронте, где воевал механиком-водителем танка, после фронта и приехал на Урал.

«Колхозный бригадир» оказался преподавателем физкультуры Александром Афанасьевичем Патокиным.

Место сбора напоминало только что раскинутый цыганский табор. Кругом лежали мешки, рюкзаки, ведра, палатки. Среди них стояли кони, здесь же вертелся, мешая всем, темно-рыжий брудастый пес Шарик. И ребята. Много было ребят. Одни возились с седлами, другие упаковывали в тюки запасную теплую одежду, третьи что-то укладывали, увязывали, снова развязывали и снова перекладывали. Над «табором» стоял оживленный детский говор, слышались смех и споры. Пахло свежим хлебом, сыромятиной, конским потом и заправшей соломой.

Разные тут были ребята. Самому старшему, самому рослому Вовке Сабянину только-только перевалило за четырнадцать, а самому младшему, круглолицему бутузу Витьке Шатрову было десять. В первые дни похода этого Витьку мы все время путали с Юрой Бондаренко. Одногодки, словно вымеренные по росту, круглолицые, курносые, в одинаковых шапках, ребяташки напоминали близнецов. Чтобы посмотреть в лицо взрослому, Витьке и Юрке приходилось высоко задирать головы, отчего шапки сползали на затылок, открывая синие любопытные глаза. Витька носил черные штаны, Юрка — зеленые. По штанам, да еще по мелким, как маковое семя, веснушкам, которыми природа пересыпала Юркино переносье гуще, чем Витькино, мы и отличали их друг от друга. Оба они рано пошли в школу и в десять лет уже успели закончить четвертый класс.

Я назвал самым рослым Вовку Сабянина. А самого маленького звали Миша Паутов. Поначалу мы его как-то не замечали. И если бы не звонкий Мишин голосок, не умолкающий ни на минуту, настойчиво требующий внимания, если бы Миша не совал свой нос куда следует

и куда не следует, мы бы приняли его просто за «болельщика», который очень хочет в поход, но пока не дорос. Миша больше всех говорил, быстро, взхлеб, повторяя одно и то же по нескольку раз, из-за спешки проглатывая окончания слов. Когда ребята слушали его плохо, он теребил их за рукава и кричал каждому на ухо.

В момент встречи еще запомнился Сашка Смирнов, по прозвищу Дед. Этот показался старше своих четырнадцати лет. Худорослый, но какой-то осанистый, внимательный к разговорам взрослых и безразличный к заветам ребят, он произвел впечатление подростка, успешного вдоволь поводить со взрослыми деревенскими парнями. Сашка не спешил увязывать вьюки, стоял в стороне и наблюдал, как это делают ребята.

Когда мы подошли и поздоровались, Серафим Амвросиевич выпрямился и без предисловий спросил:

— Почему поздно?

— Но ведь выход назначался на второе.

— Правильно. Это значит выступать должны первого вечером.

В голосе его, сухом, резком, прозвучало раздражение. Он с подозрительным прищуром прострелил нас взглядом, и я уловил в нем сомнение: «Эх, мол, накликал я с этими корреспондентами на свою шею маяты. Мало у меня ее!» Позднее, когда уже все было готово к отходу, Борковский строго спросил меня:

— Ну, а самочувствие как? Здоровье как, спрашиваю?

— Да ничего вроде, пока не жалуясь.

— А у друга?— он кивнул на Бориса.

— Как сказать... Думаю, обузой не будем...

Это понятное беспокойство учителя, головой отвечающего за каждого человека, а с этого часа и за нас, снова насторожило меня: не слишком ли самоуверен

Борис? Осилит ли двухсоткилометровый путь по тайге? Ведь мы не просто пойдём, а будем делать в дороге все, что потребуется: гнать телят, пасти их ночами, разбивать лагерь, готовить пищу и ещё многое такое, о чем мы пока не предполагаем. Не сплеховать бы, не подвести бы людей.

Но об этом мы, кажется, достаточно размышляли дома, и я бодро ответил Борковскому:

— Постараемся не подкачать!

Мы сняли рюкзаки. Учитель скользнул по ним взглядом и опять спросил в лоб:

— Продукты запасли?

— Мы рассчитывали закупить все на месте.

Борковский выпустил из рук подпругу, шагнул к нам.

— Как же так? Здесь покупать нечего, да и негде. Сухарей за час не засушишь. А у нас расчет на пятнадцать человек.

Подумал, зачем-то пересчитал мешки и решил:

— Ну ладно, попробуем достать что-нибудь по пути.

А теперь — помогай!

Борковскому пришлось просить в колхозе еще одну лошадь — это уж для нас. Дали ему молодого, плохо объезженного жеребца Петьку. Подтянутый, с пышным черным хвостом и длинной разметанной гривой, с тонкими сухими ногами и широкой мускулистой грудью, Петька недовольно стриг ушами и косил на людей темный, своенравный глаз. Мы с Борисом связали рюкзаки, но долго не могли забросить на коня — не пускал. Серафим Амвросиевич не вытерпел, выхватил у Бориса из рук повод, грозно крикнул на Петьку:

— Стоять!

И конь остановился.

Скот, который мы должны были гнать, находился на выгоне за соседней деревней. Ребята забрались на за-

вьюченных коней и уехали вперед. Борковский подошел к нам, облегченно вздохнул:

— Канительны же эти сборы. Того нет, другого не хватает. И все надо учесть, все проверить.

Он наклонился и взял лежавший на камне фотоаппарат, набросил ремешок на шею. К камню еще был приставлен большой плоский ящик с надежными металлическими застежками, весь вымазанный разными красками. С такими обычно выезжают на этюды художники.

— А здесь краски, палитра,— перехватив мой взгляд, объяснил учитель.— Иногда балуюсь рисованием...

Я перекинул увесистый ящик за ремень через плечо, и мы пошли за лошадьми.

Серафим Амвросиевич шагал крупно, отмахивая рукой. Из-под воротника куртки выбивался смятый воротничок рубашки. И все на нем было небрежно: фуражка надета как попало, на спутанные волосы, ворот расстегнут, кончик ремня болтался. Борковский разговаривал с нами и не сводил глаз с ребят. Иногда он замечал среди едущих что-то неладное и громко кричал, потрясая над головой кулаком:

— Ванька, сейчас же слезь с гривы! Сашка, не гони коня!

Когда лошади взяли ритм и пошли спокойно, Борковский приостановился и неожиданно спросил:

— Почему, говорите, с такой спешкой выходим? Объясню, только наперед вы мне ответьте, господа горожане: знаете ли, почему фунт мяса? Да не того мяса, что в магазинах...

Мы ничего не поняли. Учитель явно иронизировал. Загадочно хмыкнув, он заключил:

— Не знаете вы пока... А рано пошли вот почему. Дружная нынче весна была. Паводок спал быстро, реки вошли в берега. Спала вода, значит, можно гнать на

поляны скот. Нынче выходим на пятнадцать дней раньше! А что это значит? На полянах — это у нас так называют альпийские луга — телята прибывают в весе по восемьсот, девятьсот граммов в сутки. А если давать животным соль, то будут прибывать еще больше. Теперь давайте считать. Только наш колхоз в это лето отгоняет сто двадцать голов. А всего из шести колхозов на Цепельских и Язьвенских полянах будет пастись около семисот голов молодняка. Вот и прикиньте, во что обойдется потерянный день...

Борковский засмеялся.

— Да полно подсчитывать! Я скажу: если мы потеряем только один день, то потеряем сто двадцать килограммов мяса, два дня — двести сорок, полмесяца — тонну восемьсот! Это значит, колхоз не досчитается три, три с половиной тысячи рублей. А если взять в объеме шести колхозов? Сто тысяч убытку! Вот какая тут арифметика, вот что значит выйти на пятнадцать дней раньше!

Прошли немного молча — мы, пораженные таким внушительным эквивалентом, Серафим Амвросиевич, занятый своими мыслями. И вдруг он снова засмеялся:

— Но вы еще узнаете, почему фунт мяса!..

Окольная дорога вывела к глубокому оврагу, словно вром опоясавшему село. За оврагом, за перекошенной изгородью, пыльной улицей начиналась деревня Ванино. Ребята спешили у старого дома с выцветшей вывеской «Сельмаг». На крыльце магазина поджидал нас ушедший раньше Александр Афанасьевич. Он горестно покачал головой и сказал, что в магазине шаром покати — ничего нет, кроме пряников.

Делать было нечего, и мы с Борисом купили на свой пай мешок пряников. Ох, уж эти пряники! Если бы мы знали, насколько непригодны они для тяжелой дороги.



Ночное шествие

В ванинских поскотинах мы отобрали сто двадцать телят-годовиков. Всякие тут были телята: упитанные, с крутыми сытыми боками; худые, с рахитично расставленными тонкими ножками. Но отобрали — не значит, что взяли.

Телят загнали в сарай, а потом в узкие двери выгнали обратно по одному. Каждого осматривали отдельно. Все нужно было учесть, все подметить заранее. Хромой или отощавший теленок не осилит трудного перехода по тайге. Осматривать, а заодно и еще раз пересчитывать, помогали все. Иногда Борковский взмахивал рукой, и тогда Патокин перекрывал выход засовом. Начинался подробный осмотр и прощупывание подозрительного теленка.

— Дойдет!— деловито бросал не по-детски серьезный, похожий на маленького мужичка Гена Ваньков.

— Законно дойдет!— подтверждал Юрка Бондаренко, не особенно задумываясь над сказанным. Александр Афанасьевич не имел твердого слова, смотрел больше на Серафима, и, если тот согласно кивал головой, теленок проходил.

И из этих, уже отобранных, Борковский еще выбраковывал слабых. Не помогли ни плачевные просьбы доярков, ни требования зоотехника. В стаде осталось сто четырнадцать. И — точка.

— За этих отвечаю, за каждого! — твердо сказал Борковский, расписался в журнале приемки и пошел прочь.

Пока занимались отбором, совсем свечерело. В этих краях наступило время белых ночей, однако откуда-то надвигалась тьма. Я осмотрелся и увидел ползущую с востока тяжелую сизую тучу. В безветрии туча быстро растекалась по горизонту, сгущая земные тени, обволакивая дали мраком.

— А что, Абросимович, быть грозе? — не то спросил, не то для себя отметил Александр Афанасьевич, вымеривая глазами тучу. Патокин для удобства, как, впрочем, и все в Верх-Язьве, называл Серафима Амвросиевича просто Абросимович.

Борковский даже не взглянул на тучу.

Первый отрезок пути — восемнадцать километров — нужно пройти сегодня, какая бы ни была погода. Тут дело не только в желании. Уходя из Верх-Язьвы, мы надолго расставались с полями и лугами. Теперь не часто будут попадаться открытые места, где можно покормить телят. Каждое такое кормовое место известно скотоводам и имеет свое название. На них мы будем делать привалы. Абросимович планировал ночью прийти на Деняшер.

Переход от Верх-Язьвы до Ванино был как бы «пристрелочным». Выяснилось, что грузы во вьюках распределены неравномерно. Одни мешки оказались слишком тяжелыми, другие — легкими. А у нас были разные по силе кони, разные по весу и по габаритам вьюки.

Время не ждало, и Абросимович сказал:

— Ты, — он указал на меня. — И вас пятеро, — указал

на самых маленьких.— Останетесь перекидывать вьюки. Остальные погонят стадо. Встретимся на вырубке...

Считая вопрос решенным, Борковский тут же отдал указания Патокину, Борису, продиктовал ребятам-гонщикам обязанности и громко, протяжно крикнул:

— Хо-о-одом!

Не только укладывать вьюки, но и просто ездить верхом мне почти не приходилось. Но беспокоился я зря. Борковский знал, что делал. Здесь от меня требовалось только поднимать да ворочать.

На лужайке, подле избушки доярок, ребята мигом развалили весь наш походный скарб. Ведра, котелки, кружки, мешки с сухарями, с крупой, рюкзаки с сахаром, груды консервных банок, одежда — все это беспорядочно лежало на траве. Ребята не суетились, попусту не толкались, и работа спорилась. В каждом движении их чувствовались сноровка и знание дела.

Я тоже набивал всякой всячиной мешки, вытряхивал, перекидывал, снова набивал. Вспотел, но ребята не давали передышки.

— В ведро положите другое ведро, а в то ведро — котелок сверху, в котелок кладите кружки, в кружки — ложки...— подсказывал Валерка Мурзин. Валерка подвижный и быстроглазый, пухлые его щеки пышут здоровьем. На нем дырявые резиновые сапоги, залатанные на коленках штанишки и тесная, с прикрученными на проволоку пуговицами фуфайка. Валерка большой оптимист, он «чхал» на дырявые сапоги и на тесную фуфайку тоже. Свои многочисленные восторги сопровождает неизменным восклицанием:

— Ух, гад, чинно!

— Этот вьюк на Машку, тот вон — на Сивку... На Сивку, на Сивку...— тараторил Миша Паутов и дергал за рукав то меня, то Валерку.

Сбросив шапки, посапывая от натуги, пытаются перехватить жесткой прорезиненной лямкой неподатливый вьюк Витька Шатров и Юрка Бондаренко. Они всегда вместе, только, наверное, следует первым называть Юрку, а уж потом Витьку. Рыжеголовый Юрка покруче нравом и заметно влияет на Витьку.

— Дай-ко я поднажму, — искусственным баском говорит Юрка, плюет на ладошки, упирается ногой в мешок и тянет лямку, отчего лицо и шея его начинают краснеть.

Здесь же присутствует в качестве наблюдателя Сашка-Дед. Непонятно, почему Абросимович оставил его с малышами. Ему тоже предназначена лошадь, и он терпеливо ждет, когда мы забросим на нее вьюки.

Давно скрылись из виду телята и гонщики, не слышно стало мычания, потонули, затерялись в глухой пойменной низине громогласные окрики Абросимовича. Но вот готовы и мы. Компактные вьюки лежат на седлах плотно, убористо. Вьюки стали меньше, хотя в них вошла еще и верхняя одежда. С особой бережливостью ребята упаковали ящик с красками. Обернули его фуфайкой и положили в мешок с сухарями. Раньше он никуда не входил, а сейчас и места немного занял, и углы не выпячиваются. На лошадех вьюки грузили общими силами с высокого крыльца избушки.

Я не решился ехать на Петьке и привязал его арканом за седло спокойной Юркиной коняшки Маши. Не слишком обремененный грузом, Петька для порядка покуражился, потанцевал и с богом двинул. Свежие, незаезженные кони взяли резво, поспешая за сильной гнедой кобылой Сивкой. Уже за сараем Юрка, стесненный вьюками, неловко обернулся в седле и крикнул:

— Идите по следу. На вырубке подождем!

По дороге меня накрыл дождь. Небо сплошь затяну-

ло) стало темно. Вдруг ослепительно белая ветвистая молния расколола тучи, и, сотрясая землю, раскатисто загрохотал гром. Слово в открывшиеся трещины, с неба хлынул поток воды. Крупный холодный дождь бил в спину ощутимой тяжестью. У меня не было с собой ни плаща, ни накидки. Хорошо хоть в кармане нашелся целлофановый мешочек. Завернул в него документы и курево.

Пожалуй, не меньше часа брел я под проливным дождем, боясь потерять конный след, пока, наконец, не подошел к лесу и не спустился по вырубам в глубокую и узкую долину первой на нашем пути горной речки Северного Пулта. Здесь поджидали ребята, уже успевшие развьючить лошадей. Стадо еще не подошло.

Дождь в лесу — это двойной дождь. С намокших ветвей, с трав от малейшего прикосновения осыпаются брызги. Поэтому мы и не спасались от дождя: облитому из кадки не страшны капли. Беспокоило другое — намокали продукты. Мы еще могли спрятать сахар, растолкав рюкзаки с ним по ведрам, а вот хлеб и сухари не спасали ни двойные мешки, ни клеенки. Мешки с хлебом, как губка, впитывали влагу и набухали.

В первый же вечер пропали закупленные нами пряники.

Мешок сделался мягким, сладкое ванильное тесто обильно проступало сквозь редкую холстину. Еще недавно этот мешок притягивал взгляды ребят. Сейчас на него никто не смотрел.

Ровно, утомительно шумел под дождем лес. Мы расположились под елками, напряженно вслушиваясь в этот однообразный, монотонный шум: не идет ли стадо? И вот донесся отдаленный треск валежника, топот и мычание. Стадо двигалось в сторону Пулта заросшей долиной ручья.

С головными телятами вышли на поляну Александр Афанасьевич и Борис. Оба они, хотя и были в плащах, выглядели не суше нас. У Бориса из-за голенищ сапог выплескивалась вода. На Патокине все хрустело, шуршало, грубый брезентовый плащ топорщился коробом. Он подошел к мешкам, укрытым войлочными потниками и клеенками, выжал шапку и вздохнул:

— Если дождь не перестанет, запоем Лазаря...

Патокин переживал вдвойне: еще в Верх-Язьве его избрали завхозом и шеф-поваром. Поручая Саше эту заботу, Абросимович освободил его от всех прочих дел во время стоянок.

Не без труда взвалили на седла заметно потяжелевшие мешки и спустились к берегу бурлящего Пулта.

Северный Пулт, как и все последующие реки на нашем пути,— приток Язьвы. Он не широк, мелок, но до того быстр, что камень, брошенный в него, долго не тонет и скачет по упругим струям, подобно мячику. Со дна там и тут торчат круглые отшлифованные голыши.

Телята сгрудились на берегу. Абросимович осмотрел переход и приказал отбить от стада нескольких рослых животных. Смелее других вел себя бодливый белолобый бычок, с тупыми короткими рожками и толстыми сильными ногами. Его и еще пятерку телят посильнее мы оттеснили к самой воде. Борковский по камням перескочил на другой берег.

— Пробуйте!— крикнул он.

Отобранные телята, зайдя по колено в воду, остановились, зафыркали. Белолобый понюхал воду, сделал еще шаг. И тут какая-то сила подстегнула животных — задрал хвосты, они решительно двинулись наискось русла, широко расставляя ноги, скользя по галечнику. Не успели они взобраться на противоположный крутой бе-

рег, за ними ринулись остальные. Борковский торжественно улыбался.

Мы шли на восток по узкой малохоженной просеке, которую здесь называют вырубом, среди замшелого древнего леса. В голубоватом мраке призрачно вырисовывались островерхие ели. Над растянувшимся стадом колыхался туман — мокрые разогретые спины животных парили. Дорога круто забирала в гору. Кони грузно переступали по влажной, мягкой земле. По вырубам, даже в горах, то и дело попадались болотины.

Дождь затихал, освобождалось от туч небо. Тучи плыли над лесом в два этажа — тяжелые, дождевые — так низко, что местами закрывали верхушки деревьев. Выше их медленно плыли серые тучи. Они были легки, прозрачны, и среди них проблескивали неяркие звезды. Гроза проходила стороной. Мы прислушивались к отдаленным глухим раскатам грома и радовались: может быть, нам не придется «петь Лазаря».

Сырость, безветрие настояли в лесу множество запахов. Пахло грибами, молодой листвой и еще чем-то неопределенным. Иногда неизвестно откуда полосой находил и заполнял все вокруг нежный аромат цветущей черемухи.

Все это виделось, чуялось и запоминалось мимоходом. Главной заботой было стадо. До чего же непутевые животные — телята! Нет, чтобы идти по чистому месту, по вырубам, обязательно им надо лезть в бурелом. И мы лезли за ними, падали в темноте, обдирали руки, лица. Ребята без усталости шныряли по зарослям, шелкали прутьями и, подражая Абросимовичу, звонко кричали на телят:

— Ходом!

По возможности я старался не отходить от Бориса. Трудно ему давались первые километры. Не потому, что

вот уже третью ночь подряд мы не спали, и даже не потому, что дорога оказалась хуже, чем мы предполагали. У Бориса начало пошаливать сердце. Он опирался на палку, сосредоточенно глядел под ноги. И лишь когда на его участке выбивался теленок, он кидался в обход и хрипло кричал:

— Я-а тебе, скотина! Я-а тебя проучу!..

Мимо пробежал Абросимович. Стегнул на ходу зазевавшегося бычка, легко перемахнул колодину, угрожающим взмахом длинного измочаленного прута пугнул другого и остановился. Вытер рукавом парное лицо.

— Нет ли у вас сухой папирсы?

Я вспомнил про мешочек, достал сигареты, и мы все трое закурили.

— В прошлое лето нас здесь же мочило,— как бы оправдываясь, сказал Борковский. У глаз его собрались смешливые морщинки, тонкие губы скривились в улыбке.— Устали? Это не плохо. Скорее узнаете, почем фунт мяса...

Но докурить нам не пришлось. Куда-то не в ту сторону потянулись телята, ребята попытались повернуть их, образовался затор, и Борковский, швырнув сигарету, умчался.

Удивительный человек этот Абросимович. Не сразу поймешь такого. Но, кажется, в нем есть все: и удаль, и осмотрительность, и гнев, и доброта. Крепкий, как витой смолевой корень, быстрый, собранный, Борковский поражал нас своей энергией и рискованной самостоятельностью в каждом поступке. Он ни над чем не задумывается, все делает разом, с налету. Не возится ни с телятами, ни с ребятами, ни с нами, взрослыми. На ребят покрикивает, телят лупит, нам приказывает.

На вершине горы просека круто повернула и прямехонько устремилась вниз. Телята припустили под гору

галопом. Побежали и мы. И вдруг лес разом оборвался, стало светло — впереди зеленым озером открылась широкая поляна, со всех сторон замкнутая горами.

Это был Деняшер.

Остановились мы в дальнем конце поляны у старого развалившегося сарая. Развьючили коней, стаскали под навес мешки. Где-то в белесой туманной мгле картаво позванивал ручей, тоскливо кричала серая неясность. С легким шелестом крыльев над головой сновали большущие, с варежку, летучие мыши, в траве бледными зеленоватыми огоньками млели светлячки. Тихо, спокойно кругом.

Ноги не держали от усталости, хотелось упасть в высокую росную траву и лежать без движения. Но надо было искать дрова, разводить костер. Мы побаивались за ребят, они промокли, разогрелись, сейчас продрогнут — не простудились бы.

Но напрасно мы с Борисом беспокоились. Ребята и без нас знали, что делать. Где-то в стороне дружно застучали топоры, и мы услышали, как с тяжелым треском ухнула наземь лесина. Срубленную сушину они облепили, как муравьи, поволокли к сараю. Мы подбежали, подхватили дерево.

— Не надо, самим легко! — с натугой пропищал кто-то сзади у моих ног и даже попытался оттеснить меня в сторону. Я оглянулся. Внизу согнулся под грузом человек.

— Это кто тут путается?

— Я, Валерка. Уйдите, а то придавит...

Подтащили сухару к сараю, кто-то скомандовал: «раз, два, три» — и бросили. И опять ребята насели на нее, начали обрубать, обламывать сучья. Куда не су-

нешься — везде опережают ребячьи руки. Вот уж правда, неумелому-то и взяться негде! И кажется, ребят уже не тринадцать, а все тридцать. От смеха, от шуток, от веселых перекликов ожила поляна. Умолкла, испугалась людских голосов серая неясность, притих, насторожился ухавший в ельнике за ручьем филин. Только летучие мыши все так же мельтешили среди ребят, да иногда вдруг перед самым носом возникал темный силуэт козодоя. Козодой повисал в воздухе, неслышно, как мотылек, трепыхал мягкими длинными крыльями, а потом, разглядев человека, неожиданно и стремительно нырял в сторону, в темноту.

Вспыхнул костер, взметнул искрящееся пламя выше сарая, и оказалось, что у костра уже лежит приготовленная посуда, продукты, стоят ведра с водой. Быстро идет работа, слаженно, как на туристском соревновании, — кто быстрее, тому выпел. Но здесь не ради выпела стараются ребята, так нужно, они так умеют. И телят погнали не за выпел и не за деньги.

Ребята тесным кругом обступили костер, вытянули над огнем красные руки. С рукавов стекала вода. Витька Шатров языком ловил алые капельки, падающие с козырька шапки. И на минуту вдруг стало так тихо, что все слышали, как хрумкают траву разбредшиеся по поляне телята. Позванивает ручей, урчат в болотце лягуши, побрякивает уздой подошедший к костру старый мерин Тяни-Толкай. Валерка Мурзин огляделся, вытер рукавом нос и один за всех выразил красоту деняшерской ночи:

— Ух, гад, и чинно здесь!

— Законно! — согласился Юрка Бондаренко.

С телятами оба учителя. Сейчас к костру придет Александр Афанасьевич, будет варить ужин. Это его дело.

Но пришел Абросимович.

— Вот что, друзья,— сказал он ребятам,— на просушку одежды, на еду, на отдых вам четыре часа. Хоть спите, хоть пляшите — ваше дело, но чтоб ровно в пять все были на ногах. И не зевали. Будить никто не будет.

И мы ушли к стаду.



Деняшер—
Тулымская
полянка

После дежурства мы спали в старом сарае, построенном когда-то для пастухов. Пол в нем провалился, прогнившие бревна осели, выпятились. Я проснулся поздно и долго не мог сообразить, где нахожусь. Сводило затекшие в сапогах мокрые ноги, онемела шея. Никого рядом не было. В дверной проем лился солнечный свет. За стеной гомонили ребята, слышались голоса Бориса и Патокина. Я поспешно выбрался наружу.

Над горами голубело ясное небо. Обильно смоченная земля дымила потоками испарений. По поляне разбрелись телята, стоя дремали привязанные к колям

лошади. У опушки леса трещали разожженные ребятами костры. Кругом трезвонили пичуги, где-то рядом куковала кукушка, каждый раз неожиданно обрывая свою несложную песню глухим гортанным звуком.

И поляна, и окружающие ее горы оказались совсем не такими, какими они виделись ночью. Поляна была узкая и длинная, с наклоном к ручью. Сразу же за ним поднимались горы. Ребята сушили у большого костра одежонку. Кто стоял без рубахи, кто без штанов. Борис методично встряхивал над костром портянки, будто на базаре нахваливал свой товар. Выглядел он забавно, в красных носках, синих кальсонах и в белой нательной рубахе. Патокин гремел ведрами, котелками — готовил завтрак. Не было у костра только Абросимовича. Он с ночи не отходил от телят.

В нашем отряде четверо Ваниных: Ваня, Геннадий, Владимир и Саша. Двое Мурзиных — Валерий и Анатолий. Легко было перепутать ребят, и мы с Борисом называли их, как, впрочем, и сами они друг друга, не просто по имени, а еще и с порядковым номером. Поводом для этого послужило прозвище Володи Ванина. Звали его Бурбон Четвертый.

Почему Володю прозвали Бурбоном, да еще четвертым, мы не дознались, но «бурбонского» в нем ничего не было. Он плотен, словно скатан, и до того белобрыс, что не заметно ни бровей, ни ресниц. В отряд Володя пришел позже других, в родной деревне Ванино. Подошел к магазину, где мы покупали пряники, и певуче поздоровался:

— Здравствуйте-е-е...

На нем были легкие сыромятные бродни, подвязанные на щиколотках и ниже колен ремешками, грубые штаны, такая же рубаха, а за плечами — котомка из домотканой дерюги. В котомке лежала фуфайка, отдель-

но, в чистое полотенце, был завернут маковый пирог, который Володя тут же разделил между ребятами.

Хорошо узнали мы его позднее. Он оказался тихим, справедливым и очень обидчивым мальчиком. Не умел возражать, не умел давать отпор. А таким, как известно, от бойких ребят всегда достается. Не был исключением из этого неписаного правила и Володя Ванин. Помню ненастную ночь после тяжелого перехода, когда все ребята, да и мы тоже, сидели смертельно уставшие на берегу реки, бессознательно затягивая минутки отдыха, а Володя поднялся, и один пошел ставить палатку. И как он заплакал, тихо, чтобы никто не видел, когда другой Володя, Сабянин, считавшийся «самым сильным», попытался отнять у него колья.

Ване Первому, худенькому мальчику с продолговатым бледным лицом, шел двенадцатый год. Ваня отличался большим трудолюбием и исполнительностью. Еще дома он простудился, и теперь по его красным выпуклым векам кочевали «ячмени». Он ни с кем не вступал в споры и никогда не сидел без дела. Иногда ребята похитрее злоупотребляли Ваниной исполнительностью, сваливая на него свою работу. Ваня Первый не отказывался.

Гена Второй на год старше Вани. Этот и вовсе трудолюб — за что ни брался, все делал умеючи, с неторопливой последовательностью. Если Александр Афанасьевич поручал ему варить кашу, то Гена сначала начисто, с песочком промывал посуду, мыл руки и уж потом брался за продукты. По этой причине ему чаще других приходилось кашеварить, и не было случая, чтобы он пересолил, не досолил или прижег варево.

Уже с первых дней мы, взрослые, как-то каждый по-своему, выделили его из прочих ребяташек, поручали ему самые ответственные работы и прислушивались к

его советам. Если Гена утром посмотрит на горизонт, понюхает воздух и скажет, что к обеду «задожит» и что надо торопиться, то действительно надо торопиться — затянет небо тучами, и к полудню начнется дождь. Слушая вот такие его мудрые, а попросту говоря, житейские советы, не хотелось верить, что перед нами всего лишь мальчишка двенадцати с половиной лет.

Но это было потом. А пока Гена Второй ничем не отличался от своих товарищей, ходил без шапки, подставляя дождю и ветру мягкие завитушки русых кудрей. На нем старая куртка с большими пуговицами на воротах, худенькие, разошедшиеся по швам штаны и во многих местах заклеенные резиновые сапоги. Шапку и телогрейку он надевал только на ночь.

Хотя ребята по очереди ехали «на вершной», Гена Второй почти не садился в седло. Он добросовестно гнал телят. Трудно подумать, как шли бы телята на левом переднем фланге, если бы там неизменно не находился Гена.

Замкнутый, всегда насупленный крепыш Саша Ваньков, или Саня Третий, как-то ускользнул из поля зрения. Никто точно не мог сказать, где, с какой стороны стада Саша идет, но на крик он отзывался сразу же. Если кому-нибудь требовалась подмога, подоспевал первым. Его мало видели во время марша. Замечали неожиданно, уже на привале. Он помогал разбивать лагерь, рубил дрова, заготавливал для палаток колья.

Саня здоров, сутуловат, с крепко посаженной головой на короткой шее. Он один из счастливцев, кому уже довелось однажды побывать на Кваркуше. Товарищи относились к нему с почтением, как к «бывалому».

Обращал на себя внимание, особенно поначалу, говор ребят.

Окончания слов, а еще чаще окончания предложе-

ний, они произносили с заметным смягчением, сильно растягивая. Если, например, Миша Паутов хотел спросить время, то он говорил так:

— Много ли время-та-а-а..?

Причем первое слово, а если предложение длинное, то несколько первых слов, произносились коротко, громко. Когда оживленно разговаривали несколько ребят, со стороны казалось, будто они поют.

Позднее я узнал, что этот говор — обособленный диалект язвинских коми. Так говорят только жители верхнего и среднего течения Язвы. Говорят очень красиво — музыкально, певуче.

Дождь принес нам немало хлопот и неприятностей. Вымокли до нитки и спали в сырой одежде. Абросимович безнадежно охрип, а Борис даже этот первый отрезок пути шел уже на пределе. Но самое главное — дождь отнял у нас треть запаса продовольствия. Часть сухарей, часть хлеба, рюкзак сахарного песка, злополучный мешок пряников пришлось оставить на Деняшере. Из сухарей, хлеба, пряников получилось тесто, сахар превратился в сироп. Стало ясно, что продуктов нам не хватит. А это обязывало ко многим размышлениям.

Мы успокаивали себя тем, что на пути будет поселок и хлеба мы купим, что в тайге добудем мясо и рыбу, что так или иначе часть продовольствия надо оставлять на обратную дорогу. С этой надеждой и покинули Деняшер.

И опять наш маленький караван в голове гурта устремился по узкому вырубам в гору. Все в гору и в гору. Неглубокая лощина — короткий отдых ногам и сердцу. И опять подъем. Идем на восток. Ни встречных, ни попутчиков — ни души. Далеко позади остались луга и пашни, а здесь горы и лес. Лес без конца. Темный, сце-

пившийся вверху ветвями, скрывающий небо над головой. Высохло, на корню зачахло молодое подлесье от губительной тени могучих родичей. Даже травы не растут внизу.

А тут еще невесть откуда залетело в глухой хвойный лес семечко березы. Упало под ель на сырое прелье, привилось и прынуло в жизнь зеленым побегом. С того часа прошло много дней. Отползла по земле от мрачной соседки молодая березка, выбилась к свету и, как девочка-подросток, пошла дурить в высоту. Росла, торопилась. И вымахала. Тонкая, как жердь, жидкая, как хвощ, с болезненно разметанными редкими ветками. Пила, пила солнечное тепло, да так и не осилила неравной борьбы за свет. Согнулась березка коромыслом и высохла.

Не знает здешний лес вмешательства человека, все здесь живет первозданным законом: кто сильный, тот и властвует.

Где-то над горами светило солнце, но на просеку солнечный свет падал лишь полосами и пятнами. Теплый влажный воздух струился, дрожал. С мертвых сучьев, как седые волосы, свисали космы белесого спутанного мха. Дождь расквасил и без того не просыхающую землю. Телята намесили столько грязи, что идущим сзади погонщикам приходилось пробираться обочинами выруб. Этим незамедлительно воспользовались телята и норовили стрельнуть в стороны.

Вскоре выруб вывел на большую поляну. О ней говорил утром Борковский. Завидев простор, телята со всех ног бросились вперед, налетали на лошадей, сшибали друг дружку.

Серафим Амвросиевич подошел к нам.

— Года два назад на этом месте в стадо ворвался медведь и положил пять телушек,— сказал он осиплым

голосом.— Ну, положил, еще куда ни шло, на то он и медведь, а главное — перепугал, разогнал стадо. Три дня пастухи собирали телят по тайге и еще двух десятков не досчитались.

— Вы гнали?

Борковский удивленно поднял брови.

— Мы? Ребята до этого не допустят. Пастухи гнали... Они ночами спят, а мы костры жжем. Вон, сегодня двенадцать штук запаливали...

Только тут мы с Борисом догадались, для чего ребята зажгли по краям Деняшерской поляны столько костров.

— Неужели так много медведей?

Абросимович сдвинул на лоб кепку, почесал затылок.

— Вы останьтесь здесь на ночку, а потом идите нашим следом. Узнаете...

С трудом мы согнали телят с цветущей луговой травы. Уходили они с поляны неохотно, с оглушительным обиженным ревом.

Без особого труда переправились через вторую горную речку Колчим. На левом высоком берегу ее раскинулся таежный поселок — тоже Колчим.

Это последний населенный пункт на пути к полянам.

Я не стану описывать распронырливые действия нашего шеф-повара Александра Афанасьевича при закупке продуктов в этом поселке. Только скажу, что именно здесь он проявил в полную силу свои «завхозовские» дарования и убедительно доказал, что Борковский не ошибся, назначив его ответственным по продовольственной части. Местный торговый пункт обслуживал две геологические партии. Даже им продукты отпускались по строгому лимиту. Но твердость характера Патокина, его убедительные речи и редкая настойчивость сделали

свое дело. Через час мы укладывали в опорожненные мешки теплые буханки хлеба, консервные банки, сахар.

Снова просека вывела нас в гору. Тайга сжимала ее, вытягивала в узкий, заваленный буреломом коридор. Иногда путь преграждали россыпи мелких камней. Трудно идти по ним на подъеме. Телята грудили копытами обкатанную дресву, съезжали вниз, запинаясь, падали. Кони отказывались идти, храпели, останавливались.

Погода опять стала портиться. Над горами потянул «сивер», небо обложила густая серая хмарь. Абросимович торопил нас, мы торопили стадо. Голодные телята бежали резво. Ребята понужали их вицами, свистели, гикали. Поздно вечером вышли на Тулымскую полянку. Телята с ходу разбрелись по ней, едва видимые в высокой траве. Мы выставили сторожевых и без промедления стали разбивать лагерь.



К Золотому Камню

Поляна, на которой мы остановились, получала свое название от речки Тулымки, которую нам еще предстоит пересечь. На реке Язьве близ устья

Тулымки есть еще Тулымский порог. О нем я расскажу позднее, а пока несколько слов о полянке.

Лежит она на одном из отрогов хребта Кузмашшер, что мощным массивом тянется с юга на север. Поляна покрыта густоющей травой, цветами купальницы, среди которых зонтами раскинула широкие резные листья чемерица. Отсюда хорошо виден внизу Колчим, а в другой стороне, за уступами отрогов, синеют вдали плавные изгибы хребта Золотой Камень. Мы не будем его пересекать, обогнем по юго-западному склону и выйдем на северный.

Я проснулся от холода. Борис во сне с кем-то спорил и натягивал на голову скомканное одеяло. Я накрыл его и вылез из палатки.

Давно рассветало. На травах поблескивала роса. Где-то за вершинами елок торопливо пролетел вальдшнеп, роняя в лесные чащи глухие призывные звуки: «хруп, хруп, хруп»... На середине поляны тесно лежали телята, отдыхали кони, переступая с ноги на ногу. Вокруг дымили костры. У одного из них в плаще с поднятым воротником сидел на опрокинутом ведре Борковский.

Перед ним на импровизированном мольберте из двух воткнутых в землю сучьев стоял небольшой подрамник с холстом. Художник медленно поднял кисть и так, с отведенной в сторону рукой, засмотрелся на синий оком гор, на лазурную светлынь утреннего неба, на туман, который точно дышал, то вздымаясь, то оседая в глубоких и извилистых лабиринтах гор. Казалось, художник ждет миг, когда туман приподнимется чуть выше, и тогда можно будет подглядеть скрытую, немую и до сладкого томления в сердце милую забывчивость отдыхающей земли. О такой красоте земли многие не подозревают, ее надо не просто видеть, надо чувствовать.

Я осторожно подошел к костру. Борковский сидел ко мне спиной, и я с мальчишеской любознательностью заглянул через его плечо. На холсте влажно блестел свежим, пахнущим маслом почти готовый пейзаж. Так же медленно Борковский опустил кисть — и на полотне уверенно лег жирный ультрамариновый мазок. Да, только этой густой сини и не хватало. Там, внизу, затененная от зари громадой каменного шихана тайга сейчас точно такая. Но скоро взойдет солнце, цвета быстро меняются, и острый глаз живописца с каждой минутой ловит все новые оттенки, уже не похожие на прежние...

Борковский работал самозабвенно. Теперь он, кажется, нашел, уловил в натуре главное и легким касанием кисти оставлял на полотне мазок за мазком. Холст на глазах расцветивался, оживал. Художник как бы слился воедино с лесным утром, постиг все его тайности и боялся очнуться, выйти из этого состояния.

Я понял это и почувствовал себя лишним за спиной художника. И пошел от него так же тихо, как и пришел, оставляя за собой на траве мокрый дымящийся след.

У другого костра, напротив палаток, Александр Афанасьевич помешивал ложкой в ведре варево. Я подошел к нему.

— Не спал? — кивнул я на Абросимовича.

— Нет! — сокрушенно сказал Саша. — Ведь и смену не принимает! То ли жалеет нас, то ли не доверяет? После вас ночью я хотел подменить, ребята приходили — не ушел. Рисует...

Патокин глянул на Борковского, хотел что-то крикнуть, но раздумал и уверенно проговорил:

— Ничего, свалит его сон. Вот увидишь!

В это время в крайней палатке с белыми батистовыми стенками возмущенно зашумели ребята. Откинулся полог, показалась взлохмаченная голова Сашки Смир-

нова, а затем весь он выкатился на траву. Следом за ним полетели его телогрейка и шапка. Парнишка поднялся, подтянул расслабленный ремешок штанов, неторопливо оделся и подошел к костру.

— Что стряслось?— спросил Александр Афанасьевич.

Сашка поморгал редкими ресницами и не совсем последовательно ответил:

— Вы... выпался. Тесно там, да жарко...

— Выгнали, скажи,— поправил Александр Афанасьевич. Попробовав суп, он добавил:

— Хорош, упрел! Иди-ка, Саша, тряси ребят. Завтракать пора.— И крикнул Абросимовичу:— Есть-то ты хоть будешь, нет?

На Тулымской полянке мы тоже оставили немного продуктов на обратную дорогу, завьючили коней и выступили с первыми лучами солнца.

На передней лошади ехал Сашка. Он сидел высоко на вьюках в большущей, похожей на тюрбан шапке и раскачивался, как араб на верблюде. Сашка раскачивался от того, что конь под ним, а это был Петька, шел быстрым неровным шагом. Петька никогда не ходил под вьюками, они его раздражали. А идущий рядом Миша Паутов нет-нет да и подхлестнет с оттяжкой Петьку вицей по брюху. Конь нервно вздрагивает, напряженно выгибает хвост и начинает брыкать задними ногами с явным намерением освободиться от груза.

— Ты что издеваешься над лошадыю?— крикнул Борис и схватил Мишину вицу.

— Не издеваюсь я. Хитрющий этот Сашка-Дед, сбросить его надо... Сегодня должен ехать Бурбон Четвертый, он вчера весь день шел, а едет опять Дед. Вчера и сегодня Дед...

Но тут подъехал Толя Мурзин, послушал Мишины жалобы и сказал:

— Бурбон Четвертый едет на Сивке, Витька Шатров его пустил. Хочешь, и ты садись, я пойду пешком.

— Не-е, я не хочу-у,— поспешно отказался Миша.— Просто Дед хитрый, совсем не гонит.— И Миша принялся торопливо рассказывать про то, как Сашка Смирнов всегда отлынивает от работы, никому не дает спать в палатке, обманывает маленьких.

Толя немножко подумал и вынес заключение:

— Знаешь, кто он? Сачок. И филон еще...

Непонятно, откуда взял Толя эти слова, но Мише они показались самыми верными. Он хихикнул. А потом побежал сообщить новинку ребятам.

Незнакомые слова не сходили с уст — и все для того, чтобы уязвить твердолобого Сашку. Уязвили они его или нет, не знаю, но с того дня за Сашкой Смирновым прочно утвердилось новое прозвище — Филоненко-Сачковский.

Толя Мурзин ехал на мохноногой Машке. Машка — маленькая длинношерстная кобылка с тихими, дремлющими глазами. Она несла легкие вьюки, поэтому Толя сидел удобно, ладный и стройный, как княжич. Он большой выдумщик. Для него нет ничего проще окрестить любого новым метким прозвищем, выкинуть какую-нибудь штуку. Толя выделялся не только тем, что лучше одет, но и какой-то своей ребяческой статью. У него чистое и красивое лицо, гибкое тело. Не сходя с лошади, Толя может переобуться, подхватить с земли сбитую веткой чью-то шапку, взмахом прута метко сразить пышный венец высокой пучки. Ребята подражают ему.

Совсем не такой его друг Коля Дробников. Коля безропотен и застенчив, как девочка. Он всегда скромно

улыбается, а когда к нему обращаются взрослые, краснеет и отводит глаза. Мы мало слышали его голос и не видели, чтобы он, кроме дела, занимался чем-то другим. В свободные часы на привале, в то время, когда ребята предавались развлечениям, Коля забирал седло, широкий потник и уходил спать. Спал он каждый свободный час.

Странная была у этих ребят дружба. Толя мог шуметь на Колю, высмеять, даже нагрубить, если тот сделал что-нибудь не так, не по-Толиному.

— Засоня! Медведь!— кричал Толя.— Тебе только дрыхнуть!

Коля не обижался. Лишь изредка, в удобный момент, он робко укорял друга:

— Зря ты обзываешься. Спи и ты, если охота...

Коля был тяжеловат, медлителен на ходу. И говорил медленно, вроде бы нехотя, но уж скажет — будто топором зарубит. Всегда умно, по-деловому сдержанно. Мы так и не узнали, что же сближало этих разных ребят, что у них было общим. Но они не могли обходиться друг без друга, вместе ели и спали. Коля во всем опекал Толю, заботился о нем, как старший, рассудительный брат, подсказывал, что можно делать, что нельзя, что хорошо, что плохо. Правда, Толя никогда не слушал его советов.

Был в нашем отряде еще один Коля, Антипов. Долго мы к нему присматривались и с каждым днем открывали в нем все новое и новое. Славный мальчик этот Коля! Тонкий, как лоза, с большими задумчивыми глазами, он вызывал у нас непонятное чувство жалости. Казалось, Коля что-то потерял и вот тоскует по этому, потерянному. Он одинаково со всеми выполнял положенную работу, гнал телят, рубил дрова, мыл посуду, но жил каким-то своим внутренним миром. Его все за-

нимало, все увлекало. Он мог часами просиживать в одиночестве на берегу реки, бродить в полночном свете северного неба по росистым травам, с любопытством наблюдать за муравьями, восхищаться зорями и очарованно слушать вечерние звуки леса.

С нескрываемым волнением, почти благоговейно смотрел Коля Антипов на холсты Серафима Амвросиевича. Ему доставляло удовольствие даже просто потрогать, осмотреть холст, пахнувший клейстером и хлебной мешковиной, еще чистый, упруго натянутый на подрамник. Борковский писал ночами, сидя у костра, в часы, когда и ребята, и телята спали. Как, вероятно, все художники, он любил работать в полном одиночестве. Поэтому Коле редко выпадало счастье видеть, как рождается картина. А если все же такое случалось, то он на цыпочках, затаив дыхание, подходил к Абросимовичу и одними глазами молил не гнать его, дать возможность посмотреть хотя минуту на это дивное священнодействие. И Абросимович не гнал его.

Коля был донельзя рассеян — невпопад отвечал на вопросы, не помнил, что говорил, что куда клал. Чувствовалось, как горячо и буйно работает его фантазия, в постоянных своих мечтах он занят чем угодно, только не тем, что делает в эту минуту.

Вот и сейчас легкой пружинистой походкой Коля шагал недалеко от нас, занятый своими всегдашними думами, и совсем не видел телят. И, конечно, не заметил, когда свернула с выруба «вредная» белоногая телка.

— Опять ворон считаешь! — грубо окрикнул его с лошади горластый Володька Сабянин.

Коля опомнился, птицей перелетел через поваленное дерево и помчался в глубину леса наперерез беглянке.

Абросимович сказал:

— Если хотите посмотреть настоящую Язьву, идите по этой тропке. Она приведет к реке. Левым берегом поднимитесь до речки Осиновки. Там и встретимся.— Борковский подумал и добавил:— До Осиновки по Язьве километров пять.

С этого места просека свернула влево, а мы с Борисом пошли по еле приметной тропе прямо. Скоро растворились в утренней тиши голоса людей, топот и мычание телят. Мы погрузились в молчаливую дрему непроглядного хвойного леса. Все скрылось от глаз, кругом одни деревья. Они стоят плотно, стоят вкось и вкривь и только тем и держатся, что подпирают друг друга. Под мягким, как перина, мшистым покровом — изъеденное ключами подполье.

Обвислые упругие ветви елей сталкивали с тропы, не пускали вперед. Тесно, глухо вокруг, как в сыром подполье. Шли долго, а Язьвы все нет.

— Послушай,— сказал Борис,— не ошибся ли Абросимович в километрах? Что-то они длинные.

Тропа неожиданно раздвоилась. Постояли минуту в раздумье и пошли по правой. О близости большой реки дал знать пролетающий низко над лесом крохаль. Утка описала круг и потянула на северо-восток. На всякий случай мы запомнили направление полета.

Пересекли неширокую быстротечную Тулымку, которая стремительно неслась по наклонному каменистому ложу. Шум ее слышался издали. На противоположный берег переправились по упавшей поперек русла сухой лесине. Тут же Борис сел на ее комель, склонился к коленям. Это уже не первый раз.

— Может, отдохнем?— предложил я.

— Пустяки, пойдем,— выдохнул Борис, медленно встал, выломил палку.

И мы еще шли часа полтора. Лес начал редеть, теперь под каблуками похрустывал, как крупная соль, кварцевый песок, скользили, будто смазанные воском, опавшие еловые иголки. Незаметно поднялись на вытянутое, иссеченное трещинами плато. Один край его отвесно обрывался. Глубоко внизу, сжатая с обеих сторон скалами, бурлила Язьва.

Идти по вершине каменистой гряды было не легче, чем по тайге. Среди острых зубчатых камней зияли узкие провалы. А ровные площадки так густо заросли ползучим вереском, что не давали шагу ступить.

Зато сторицей платили за труды открывшиеся с высоты дали. Вверх по течению реки до самого горизонта дыбились лесистые горные края. Ближний из них — Золотой Камень — величественный, сине-зеленый, как гигантская неровно выгнутая арка.

Ниже, за поворотом, начинался грандиозный Тулымский порог.

Это от его грохота окрестный лес полнится несмолкаемым грозным шумом. Наклонная быстрина с хаотическим нагромождением камней растянута километров на восемь. Подобно туману над Тулымом стоит водяная завеса из брызг. Беда опрометчивому путнику, отважившемуся плыть по незнакомой реке на плоту. Река легко поднимет бревенчатое суденышко, покачивая на струях, игриво увлечет на стремнину. Отдыхает смельчак, радуется стремительной скорости.

Но что это впереди? Словно огромные лягуши, высунули из воды зеленые обглаженные головы валуны. Они беспорядочным строем перегородили реку. Напрасно встревоженный путешественник пытается отвести от мокрых угрюмых гольцов свой плот. Как ни крепки его мускулы, как ни упруг шест, не осилить ему бешеного течения.

Вот и первый валун. Он стремительно несется на встречу, все увеличиваясь, грозно поблескивая смертельной твердью. Пенным месивом кружит под ним бурн. Но плот, зарываясь бортом в пучину, прошел мимо. А дальше еще и еще камни. Их так много, что кажется, будто какой-то исполин взял да и сыпанул с пригоршни вдоль по руслу круглые обкатанные голыши. Нет, ни пройти по ним, ни проехать! Прыгай, путник, пока еще есть время, в воду. Ты силен и с шестом добредешь до берега...

Много поглотил Тулым плотов и лодок. Отважные изыскатели, геологи, охотники — все, кто решался на этот отчаянный рейс, прахом пускали свои долбленки и салики на бурливых водоворотах. Это им, смелым комсомольцам, первым покорителям северной тайги, погибшим на Тулыме в тридцатые годы, воздвигнут памятник в селе Верх-Язьве.

Мы стояли на скале и обдумывали, как идти дальше. Где же эта Осиновка, сколько еще до нее? Все здесь, конечно, красиво: и горы, и порог, и сама река, но мы, пожалуй, зря пошли смотреть эти красоты. Борис все чаще садился передохнуть и после каждой остановки вставал тяжелее, шел медленней.

В одном месте мы отдыхали на гладкой гранитной площадке. Обращенная к реке стена отвесно сваливалась вниз. Мы подползли к краю. С высоты хорошо просматривалось дно. Под берегом темнела неглубокая продольная борозда. В середине и по бокам ее на желтом галечнике неподвижно лежали розоватые бревешки. Борис столкнул рукой известковую плитку, она долго падала и с плеском ударилась об воду. «Бревешки» тотчас окружили всплеск.

— Таймени! — простонал Борис.

Мы не могли оторваться от редкого зрелища. В бо-

розде стояло одиннадцать тайменей — красноперых, с оранжевыми хвостами. Самый «маленький» — не меньше метра. И никакой другой рыбы рядом. Гордые хищники не признают ничего соседства. Посмотрели мы, посмотрели на заманчивую добычу да и пошли своей дорогой. Вот уж воистину: «Видит око, да зуб неймет»...

Я подстрелил рябчика и теперь подумывал над тем, не изжарить ли его на костре. Борис быстро слабел, ему требовались отдых и еда. Рассчитывая на пять прогулочных километров, мы ушли без куска хлеба. Да и спички у нас оказались считанными: давно уже пришлось сократить перекуры.

Я не успел сказать о своем намерении, Борис заговорил сам:

— Послушай, мне не дойти до Кваркуша. Ты пойдешь дальше, с Абросимовичем, с ребятами, а я останусь... Доберемся как-нибудь до Осиновки и останусь. Вернусь в Колчим...

Борис смахнул с валежины отставшую кору, сел на ствол. Я присел рядом, и мы надолго умолкли. Борис был прав. Мы не прошли еще и половины пути, а впереди — еще много трудностей, да и обратная дорога. Может быть, и правда вернуться в Колчим?

Не хотелось думать о возвращении. Чтобы хоть как-то развеять тягостное молчание, я сказал, что мы поступим как лучше, но это потом. А сейчас разведем костер и зажарим рябчика.

Борис покачал головой.

— Некогда жарить, пойдём. До Осиновки я дотяну.

Он порылся в кармане, достал два почерневших сухаря. Обдул их и протянул один мне.

— Вот тебе, рябчик...

Внимание мое привлекли свежесломленные стебли лабазника. Трава была развалена и примята, будто по

ней протащили мягкий и тяжелый груз. След подводил к валежине, на которой мы сидели. И вдруг я увидел рядом с собой повисший на сучке клок бурой шерсти. Это недавно проходил медведь. Здесь он перелезал через дерево, да, видать, неловко получилось, проборозил брюхом по сучку.

Сегодня мы уже второй раз наталкиваемся на медвежий след. Первый раз Борис чуть не наступил на свежий, еще парной помет. Сейчас, после зимней спячки, медведи усиленно жируют и с утра до вечера шатаются по лесу в поисках съестного. Они едят сладкие корневища лесных трав, зорят муравейники, ловят мышей и прочую живность, какая попадет под лапу. Не хлопай ушами на тропе и сохатый — настигнет зверь, повиснет на крупе и проедет за обезумевшим рогачом сто, двести метров, пока не свалит. Мне однажды приходилось видеть следы такой лесной драмы. Медведь тащился за лосем, намертво вцепившись в его загривок верхковыми клыками, обхватив спину жертвы одной лапой, а другой, растопырив когти, хватался за деревца, чтобы затормозить бег. И какая дьявольская сила была в этой лапе, если зверь с корнем выдирает осинки, которые не срубишь топором за один взмах.

Завалит медведь покрупней добычу, забросает мхом и ветками и тут уж далеко не отойдет, будет стеречь дено и ночью, пока всю не съест. Тогда и человеку опасно появляться рядом. Я рассказал об этом Борису и посоветовал, чтобы он впредь не зевал, когда ходит в лесу. Это у него бывает.

— Сам не зевай! — огрызнулся Борис и встал с валежины.

Известковые выветренные скалы стали прижимать нас к обрывистому берегу. Мы пробирались по узким наклонным уступам. Легко можно было сорваться с

этой губительной высоты в реку. Да и сами ветхие скалы грозили рухнуть от случайно упавшего камня. Борис первый спустился с крутизны, скрылся за деревьями. И вдруг закричал снизу сумасшедшим голосом:

— Сюда! Скорее!

Кровь прилила к вискам, я мгновенно скатился по его следу, машинально перевел взвод на нарезной ствол с разрывной, двенадцатиграммовой пулей и вскинул наизготовку ружье. Все еще не видя Бориса, вновь услышал его голос, но уже восторженный и удивленный:

— Стародубы! Стародубы!

Немного отлегло от сердца, я поспешил на голос. Борис стоял на коленях перед пышным кустом ярко-желтых незнакомых цветов.

— Что случилось?!

— Посмотри! Стародубы...

Не знай бы я давнего, какого-то необычайно трогательного пристрастия Бориса к цветам, его взбалмошных восторгов при виде подобных редкостей, я бы просто отругал его за этот крик. Но сдержался. Это ли для него не находка! Борис — сибиряк. До войны жил на севере, под Игаркой. С детства полюбил известный там затаенный цветок стародуб. Он растет в затененных местах, в глухих лесных падах, в ельниках у подножий скал, в каменных россыпях по берегам рек.словно прячет свою красоту от людей, но кто раз ее увидит — не забудет.

Не думал Борис встретить любимый цветок здесь, на Урале. А встретил и отойти не может. Оглаживает руками его пахучие стебли, вдыхает медово-томительный запах. Стародуб пахнет сильно, своеобразно. Руки, раз коснувшиеся его, надолго сохраняют аромат, в котором смешалось все: и весенняя прель земли, и речная прохлада, и бодрящая, как бы ментоловая, свежесть леса.

Борис поднялся, опьяненный, упившийся запахом стародуба. Я посмотрел по сторонам и увидел еще и еще желтые огоньки этих цветов. Стародубы росли среди камней, папоротника, скрытые тенью, но не заметить их было невозможно.

Осторожно, как драгоценный женьшень, Борис подрыл под корень один куст и взял его в ладони.

— Теперь он меня исцелит. Этот запах я помнил и в окопах....

У нас не во что было завернуть цветок, и мы положили его в капюшон плаща. Так он, смятый, засохший, но не утративший запаха, и кочевал с нами до последнего дня путешествия.

Стародубов мы больше нигде не встречали...

И мы опять взбирались на кручи, спускались в низины, брели у самой воды по пологим запескам. То ли вправду Борису помог диковинный цветок, то ли он черпал силы из каких-то глубин организма, только хворь отступила, сдалась. Борис шел без остановок.

В конце дня с высокого мыса увидели на берегу Язьвы поляну и на ней — стадо. А еще через полчаса нас встретил радостным лаем Шарик. Он подбежал к Борису, лизнул руку, потом виновато поджал хвост и уковылял с глаз. Я забыл сказать, что утром пес увязал за нами, дошел до Язьвы и оттуда удрал.

Из кустов вышел Борковский.

— Где вас черт носит? — сурово спросил он. — Почему не отвечали на выстрелы?

— Не слышали.

Абросимович удивился, что мы, топя по берегу, нигде не спрямили путь, что вместо тропы, которую не следовало оставлять, лезли по горам. И осуждающе заключил:

— На дороге стоят, а дорогу спрашивают...

Давно разбитый бивак манил уютом и желанным отдыхом. В редком березняке подле старого осека рядком стояли натянутые палатки. Костер со всех сторон обставлен кольями, сошками, жердочками — сушилась одежда.

Когда ужин поспел, все, кто был у костра, взяли кружки. У нас не было чашек, их заменяли кружки. Первый в очереди за кашей — Филоненко-Сачковский. Вялый и медлительный в обычное время, перед едой он вдруг оживал, настораживался и пристально наблюдал за неторопливыми действиями Александра Афанасьевича.

Ребята едят по-разному. Такие, как Миша Паутов, Юрка Бондаренко, Витька Шатров, торопятся, обжигаются, роняют кашу на штаны, размазывают по щекам. Другие едят по-домашнему, аппетитно и экономно. У Гены Второго и крошка не пропадает зря. Кружку он держит близко у рта, черпает деревянной ложкой маленькие порции, дует в ложку и с наслаждением жует. Коля Дробников подходит за кашей последним, с двумя кружками. Получает ужин на себя и на Толю Мурзина. На чистой, разостланной на траве тряпочке с одной стороны у него кружки, с другой — кучка сухариков. Коля в ту и в другую кружку опускает по сухарю и долго размешивает кашу ложкой, терпеливо поджидая беззастенчивого друга.

За добавкой опять первым Филоненко-Сачковский. Ест много, больше взрослого, а когда съест и добавку, мечтательно говорит, поглаживая живот:

— Эх, кабы еще колбасы жареной с картошкой...

Абросимовичу не до еды. Мы едва докричались его уже после того, как к телятам ушла смена. Ест, а сам и душой, и глазами у стада. Похудел, на себя не похож. От бессонницы подпухли веки, щеки густо обросли ще-

тивой. От ветра, от солнца, от репудина огрубело и почернело лицо. Впрочем, все мы выглядели не лучше. У нас с Борисом так обветрели лица, что с них клочьями сходила кожа. От каждой новой порции репудина нос и щеки нестерпимо драло.

Патокин советует.

— А вы не умывайтесь. Медведь всю жизнь не моется, да живет....

Серафим Амвросиевич окончательно прокричал на телят свой и без того простуженный голос. Для того, чтобы крикнуть — а не кричать он не может — он толкает в бок кого-нибудь из ребят и тот, заведомо зная, что от него требуется, оголтело орет, не зная куда и на кого.

Давно потонуло за горами солнце, в отблесках неугасной северной зари дремал Золотой Камень. Двигаясь по реке, мы обогнули хребет Кузмашшер. Теперь уже ничто не скрывало от глаз горделиво вознесшиеся к небу овальные вершины Золотого Камня. Дальше за ним угадывались очертания каких-то еще более высоких гор, но они были так далеки, что и думать о них сегодня не хотелось. Завтра нам предстояло перевалить за один переход двугорбый Кайбыш-Чурок. Но это завтра.

Здесь, на Усть-Осиновке, первый раз почувствовалась высота. С наступлением ночи стало холодно. Пришлось надевать на себя все, что было у нас из одежды. «Не забудьте варежки» — невольно вспомнили мы наказ Абросимовича. Умолкли, разлетелись по лесным чащобам птицы, перестали гудеть насекомые. Лишь редко по алой стыни неба протянет вальдшнеп, да тяжело плеснет у берега рыба. Хоть и поздно, а вокруг светло, и в светлом небе непривычно мигают звезды. Над головой лучисто светит Юпитер, низко на западе слабой лампадкой теплится Венера.

Когда мы с Борисом залезли в палатку и остались одни, он сказал:

— Я ничего не говорил о возвращении. Понял? Я дойду до Кваркуша.

Всю эту ночь в палатке пахло стародубами, и мы спали без сновидений.



Через
Кайбыш-
Чурок

— Ну, милые, вставайте, вставайте,— слышался за палаткой хриплый голос Борковского. Я откинул полог и выбрался на студеную, охваченную инеем траву.

В полнеба полыхала краплавая заря. Розовый свет струился сквозь ветки берез, падал на реку и вместе с туманом плыл вдоль гористого берега. Нарядные, будто одетые в пышные бальные платья, замерли убеленные инеем молодые вербы. Удивительно гармоничное сочетание розовых, белых, палевых тонов как бы дополняла ликующая голубизна далей, готовая вот-вот озариться первыми лучами солнца. В этот ранний час все спало: и горы, и тайга, и даже птицы, поэтому голос Абросимовича, как бы он тих и ласков ни был, казался лишним.

Абросимович выгонял из осека телят. Перед большой дорогой надо было их накормить. Холодные ночи — избавление животным от гноса. Разморенные отдыхом, выходили они вяло, потягивались, выгибали спины, жалобно мычали.

Спал ли Борковский в эту ночь? Похоже, что нет. Там и тут по краям поляны дымили угасающие костры — страховка от медведей. Они идут следом.

Вчера, когда не было нас, за стадом в открытую плелся молодой, видать, еще очень глупый медведь-пестун с белым пятном на груди. Он не обращал внимания ни на крики ребят, ни на палки, летевшие в его сторону. У Патокина было ружье, но Серафим Амвросиевич стрелять запрещал: без того взвинченные присутствием зверя телята от выстрела могли разбежаться.

— Ну, ну, хорошие,— ласково хрипел Серафим, выпроваживая телят в тесные ворота. В эту минуту хотелось сказать ему: «Милый, беспокойный человек! Ведь ты забыл, потерял самого себя с этой добровольной заботой. Ложись под теплое одеяло, поспи хотя до восхода солнца».

Последнее я повторил вслух.

— Спать будем дома,— отрезал Борковский.— Сейчас телят сохранить надо.

Я хотел согреться чаем, но оставшийся с вечера в ведре чай застыл. Пришлось разогреваться заготовкой дров...

Тем временем проснулись ребята, вылез из палатки Александр Афанасьевич. Протер кулаками глаза, походил вокруг давно потухшего костра, зачем-то переставил с места на место пустые ведра и в раздумье остановился возле мешков с продовольствием. Я знал, что тревожит шеф-повара. Сухари, крупа, сахар убывают катастрофически быстро. Не считая чая, горячую пищу

готовим раз в сутки, но и этого достаточно, чтобы после каждого большого привала Саша откладывал в сторону опорожненный мешок.

Разбуженный голосами, вылез из палатки Борис. Мы захватили мыло, направились к реке.

— Вы, кажется, обещали кормить нас рыбой?— с добродушной издевкой бросил нам вслед Патокин. Он сдвинул на глаз шапку, подумал:— А правда, это ведь входит в нашу программу. Вот вам ведро, и, пока греется чай, чтобы оно полное было рыбы...

Желающих рыбачить вызвалось столько, что некому стало пасти телят. Не клячил леску один Сашка Смирнов. Еще где-то перед Колчимом он напросился поднести зачехленные спиннинговые удилища, взял... и потерял. Но катушки от них сохранились, и мы с Борисом принялись мастерить удилища. А спустя полчаса на широком разводье устья Осиновки «познакомились» с язвинскими харнусами.

Получилось это так. Борис, давно отвыкший от порядочной рыбы, забросил на струю приточной воды «надежную» силоновую леску с «букетом» дождевых червей на крючке. Не успела наживка затонуть, как последовал рывок... и в руках растерянного рыболова осталось лишь тальниковое удилище... Конечно же, вся причина неудачи таилась в этом самодельном удилище! Много мы с Сашкой выслушали упреков — это я дал ему поднести удилища — пока, наконец, Борису не удалось выволочь на прибрежный галечник килограммового харнуса.

Но пора было отправляться, и рыбалку пришлось прекратить. Покидали мы Усть-Осиновку с твердым намерением на следующей стоянке накормить отряд рыбой.

Через Осиновку переправились благополучно. Это

мелкая, бурная речка, похожая на те, что проходили раньше. Сразу за ней просека круто устремилась в гору. Начался подъем на Кайбыш-Чурок.

Утреннее солнце огненными стрелами пронизывало тайгу, яркой позолотой высветило верхушки елей. Размякли и отпотели застывшие с ночи травы, над парной землей качался голубой туман. Звонко, мелодично перекликались зорянки, пели зяблики, нежными бубенцами рассыпали мандолинные трели овсянки. Здесь мы услышали звуки несложной, но очень выразительной песенки какой-то незнакомой птички. Они напоминали не то далекие гудки, не то приглушенные удары колокола, как если бы стукнуть по нему несколько раз, а потом вдруг обхватить руками. Тревожные, как сигнал, гудочки с перерывами доносились из сумрачной глубины леса, настораживая его обитателей.

Мы круто взбирались в гору, уже находились на порядочной высоте, но дорога была сырая. Нет, никакой дороги не было, был только сырой заболоченный выруб. Если бы подсчитать, сколько ключей бьет в этих местах на каждом квадратном километре, то оказалось бы, пожалуй, не меньше тысячи. Маленькие и большие родники фонтанировали из-под камней, из-под корневищ деревьев, сочились из травы. Стоило теленку свернуть с выруба, как он тут же увязал по брюхо. Иногда на пути неожиданно развергался бездонный колодец. На его поверхности плавало бурое илистое месиво, предательски скрывая воду.

Родники породили множество ручьев. Они проложили в грунте глубокие промоины и даже овраги. Заросшие кустарником, заваленные подмытыми деревьями, овраги доставляли немало хлопот при переправе. Телята толпились, прыгали друг на друга, напарывались на сучья, не могли подняться по глинистым оползням.

Нелегко идти по такой дороге, да еще на подъем. Чтобы не останавливаться часто, намечаем дистанции. Идем до избранной высоты, а когда доходим до нее, перебрасываем взор на другую. И так много раз, пока не отказывают ноги.

Но больше людей устают перегруженные кони. Они натужно храпят, бьют копытами землю. Если с лошади сбрасывают вьюк, она, облегченная, неестественно высоко вскидывает ноги. Вьюки на лошадях то и дело меняем. Это помогает.

Мы поднимались на увалы, спускались в раструбы междугорий, снова поднимались, но каждый новый подъем казался длиннее и круче. Все эти взъёмы и спуски всего лишь уступы на склонах двух мощных, раздельно стоящих горбов. Пока мы поднимаемся только на первый. Затем будет неглубокий водораздел— и вторая вершина. А уж там до самого Цепёла пойдем под гору.

— Скоро ли перевал?— спросили откуда-то набежавшего Абросимовича.

— Во-он синеет, видите? За той синью еще одна синь, а за той— наша синь,— загадочно сказал учитель.— Здешние километры черт мерил, да веревку порвал...

Поднявшееся над лесом солнце начало припекать. Теперь оно светило прямо в лицо. Ребята отыскивали в наших рюкзаках защитные очки, поочередно напяливают их. Модные, в бронзовой оправе, очки красуются на конопатом носу Филоненко-Сачковского. Они скрывают глаза, и это для него сейчас главное. Сашка прячет глаза не от солнца, от ребят. Утром незаметно он опять взобрался на Петьку и словно прирос к нему.

Сильный Петька прет в гору без остановок. На нем

самые тяжелые вьюки, а на вьюках — утробистый Сашка. Горячий, не привыкший к поклаже конь ищет избавления от гнетущего груза в ходьбе, не разбирая тропы, шпарит по кустарнику, прыгает через валежины. И вот Сашку настигло возмездие: Петька с ходу перевалил берег глубокого оврага и внезапно остановился. Незадачливый наездник через голову коня полетел в овраг...

Бочком да леском, с колодины на камешек, с камешка на выскирь прыгает с прутиком в руке Юрка Бондаренко. Угадывая в след, копирует его движения Витька Шатров. Штаны у Юрки до ремня заляпаны грязью, шапка болтается на груди, привязанная за пуговицу рубахи. Без шапки его проще отличить от друга: голова у Юрки красная, давно не стриженная, густые волосы стоят торчмя. У Витьки волосы, как ленок, — светлые, мягкие, приглаженные на лоб аккуратной челочкой. Витька старается во всем походить на Юрку. Шапка у него тоже болтается на пуговице. Юрка басовито кричит на телят: «Ходом». Витька пищит: «Ходом».

Беспечно насвистывая, будто и не чуя устали, идет Толя Мурзин. На нем клеенчатая непромокаемая куртка с нашитыми карманами, новенькие, еще не утратившие блеска резиновые сапоги. Поэтому Толя не особенно разбирает дорогу и часто намеренно топает по лужам. Изображает либо танк, либо вездеход. Пересекая лужу, перестает свистеть, надувает розовые щеки и урчит. Однако он не такой рассеянный, как идущий неподалеку Коля Антипов, и успевает, где следует, хватать вицей зазевавшегося теленка.

Коля Антипов все глаза проглядел на лес. Телята на его участке выбивались из стада, когда хотели. А отвлечься, забыться поэтично настроенному Коле было чем. Обогретый и обласканный солнцем лес в тысячи колокольцев и флейт играл птичьими трелями, благо-

ухая запахами, расцветивался всем спектром цветов и оттенков. Вдоль выруб, повторяя повороты, взъезды и впадины, алым потоком лилась река цветущего иван-чая. Он заполнил все: узкие, похожие на грядки, елани по краям выруб, берега оврагов, мочажины и сухие, каменистые взгорки; в сырых, низменных местах его заросли были так густы, так высоки, что с головой скрывали ребят. Дружное цветение иван-чая накладывало отпечаток на кроны нависших пасмурных елей — они румянились и розовели, будто освещенные изнутри. Среди прочей цветущей братии на увлажненных малоприметных тропках мелькали похожие на цветы акации золотистые льнянки, нежно голубели капельки незабудок.

Обособленно, в тени под елями, яркими кострами горели дивные марьяны коренья. Метровой высоты кусты марьяных кореньев с сочной широкой листвой и огромными, словно налитыми кровью, цветами, били в глаза щедрой, несвойственной здешним угрюмым лесам пышностью и красотой. Пятнадцать, двадцать цветов на одном кусте, каждый величиной с кулак, и столько же назревших, готовых вот-вот распуститься, бутонов, превращали куст в полыхающее огниво, далеко видимое в пещерной темени леса.

Благодатное разноцветье трав пело пчелами, стрекотало кузнечиками, порхало бабочками. И как бы дополняя царивший над всем этим аккомпанемент птичьих голосов, над вырубом тонкоголосо ныли комары. Они столбами реяли над нами, набивались в волосы, за ворот, попадали в рот. К счастью, мало еще было мошки, этого истинного бича тайги. Борковский утверждал, что мошка не появлялась благодаря ночным заморозкам.

Мы с Борисом шагали впереди каравана. Выруб ча-

сто пересекали недавние медвежьи следы. Почти все они вели вдоль выруб в сторону полян. Несколько дней назад на поляны прошло стадо соседнего с Верх-Язьвой колхоза. Оно, как магнитом, стянуло к выруб хищников. Тут промышляли и волки, и рыси. А вот на мокром песке у ручья ясно отпечатался когтистый ступ какого-то незнакомого нам зверя. Похоже, что росوماхи.

Рядом с нами бежал Шарик. Хотя он вчера полностью скомпрометировал себя, не придав значения увязавшемуся за стадом медвежонку, мы тем не менее часто посматривали на него — какая ни есть, все же собака, должна учуять зверя.

Добродушный и компанейский Шарик был одинаково привязан ко всем. Он ласкался к ребятам, преданно трусил по пятам взрослых. В деревне у него не было ни конуры, ни хозяина, и он тянул свою бездомную неприкаянную жизнь по чужим дворам, пробавляясь, чем бог пошлет. Шарик было решительно все равно с кем повестись, лишь бы его не гнали, не обижали. Поэтому он с большой охотой отправился за отрядом и, кажется, не жалел об этом.

— Смотри, он вправду кого-то причуял,— сказал Борис. Шарик привстал, напряженно вытянул забитый репьем хвост. Шерсть на хребте поднялась, верхняя губа собралась складками. Пес медленно сошел с выруб, углубился в лес. Не успели мы подумать, кто бы там мог быть, как Шарик с визгом прилетел обратно. За непроглядной стеной густого ельника послышалось удаляющееся потрескивание валежника.

Собаку будто подменили. Она не находила места, трусливо путалась под ногами. Вышедший из кустов Борковский глянул на Шарика и, не задумываясь, определил:

— Медведь пугнул. Познакомиться, дурак, захотел...

Перевал Кайбыш-Чурок казался недосягаем. Начиная из распадка новый подъем, мы каждый раз утешали себя надеждой, что он — последний. Но достигали вершины, снова спускались в падь и снова поднимались на еще ббльшую высоту.

Трудно было угадать в однообразных, тянувшихся чередой вершинах главную высоту Кайбыш-Чурка, и мы бы миновали ее так же безрадостно, если бы Абросимович не предупредил:

— Следующий перевал самый высокий. И последний. С него до Усть-Цепёла побегим...

— А долго ли бежать? — задал подковыристый вопрос Борис. — И вообще, чему равен в аш километр?

Борис подчеркнуто выделил слово «ваш», очевидно имея в виду те «пять» километров, которые мы вчера с трудом одолели за день.

Абросимович прищурил глаз.

— Бежать недолго, а километры наши особые, лесные. Я же говорил, их черт мерил, да веревку порвал...

Хотелось спросить Серафима еще кое о чем, но он больше минуты нигде не задерживался. Заметил в хвосте стада какой-то непорядок, запрыгал по выбитым древесным корням. Без него нигде ничего не обходилось.

И правда, едва успели перевалить горб Кайбыш-Чурка, выруб круто пошел под гору. Телята тесной лавиной катились вниз. Люди уступили им дорогу, бежали обочинами, сзади. Ребята половчее мигом вскарабкались на лошадей — под гору-то можно! Замешкался что-то возле Петьки Филоненко-Сачковский, с опаской поглядывая на его прижатые к затылку уши, на нервно вздрагивающие ноги. Но и он скоро уехал.

Через час стремительного спуска мы были в между-речье Язьвы и одного из главных ее притоков — Цепёла. Телята разбрелись по клеверистой поляне. Лет тридцать

назад здесь стоял большой поселок Усть-Цепёл. Он и сейчас стоит, брошенный людьми, с трухлыми, наполовину обвалившимися домами, с прямыми, заросшими березами улицами.

Борковский и пятеро ребят остались на поляне пастбища, остальные с лошадьми спустились к реке. Кони зашли в ледяную воду и стояли, словно уснувшие, несколько минут. И лишь когда немного отдохнули, погрузили мягкие вздрагивающие губы в воду.

Потом мы должны сменить у стада Борковского и ребят, а пока в нашем распоряжении час свободного времени. Привал есть привал, каждый выбрал себе занятие по душе. Молчаливый Коля Дробников, захватив седло, пошел подальше от шумливой ребятни — подремать. Филоненко-Сачковский пристроился ближе к харчам, старался услужить Александру Афанасьевичу. Коля Антипов вырезал из пустотелого стебля дудочку, присел на камешек, начал подражать голосам птиц. Толя Мурзин всех спрашивал, куда ушел Коля Дробников. Нашел его уже спящего, успокоился, стал приделывать к шапке длинное сорочье перо. Теперь, наверно, будет индейцем.

Шеф-повар занят своим делом. Хлопот у него полон рот. Попробуй-ка, не поправь вовремя на лошади вьюк, не догляди, когда распорет сучком мешок — и либо лошадь сотрет до крови спину, либо не досчитаешься десятка килограммов драгоценной крупы. Патокин озабоченно заглядывал в мешки с провиантом, что-то пересчитывал, перекладывал. Выложил на траву предназначенные для обеда рыбные консервы, буханки мятого хлеба. Посмотрел, подумал и положил пару банок и одну булку обратно в мешок. Но всем добавил по кусочку сахара.

Мы с Борисом помнили обещание и мастерили спиннинги. Спиннинг сам по себе не был нужен, хитрость ужения хариусов заключалась в том, чтобы дальше забросить наживку. Я сходил в лесок и срубил две тоненькие ровные ольхи. Уже обтесал с них сучья, но подошел Гена Второй и рассудительно посоветовал сделать удилища из любого другого дерева, хотя бы из березы.

— Почему?— удивился я.

— Ольха больно хрупкая, вот попробуйте-ка, согните.

Я слегка напружинил вершинку удилища, и она с треском, как графит, разлетелась на три части. Гена Второй пожал плечами и глянул с усмешкой. Мне и сейчас стыдно вспоминать этот случай. Ведь в лесу я в общем-то человек не новый.

Пошел я и вырубил иву. Жидкий ивовый прут с привязанной на него катушкой вполне подходил для удилища. Вооружившись такими снастями, мы отправились на указанное Борковским место.

Длинный, заросший лозняком остров делил реку на два рукава. За островом рукава соединялись в шумную бурлящую шиверу. Там, за камнями, на уступчатых перекатах и должны быть хариусы. Мы зашли на середину одного из рукавов выше переката, забрались на скрытые под водой камни. Течение снесло лески и потопило в пенной кипени шиверы.

Борис стоял неудобно. Это было видно по резким, неожиданным взмахам свободной левой руки, по тем акробатическим движениям, которые он выделявал время от времени, чтобы удержаться на камне. Я видел его сосредоточенное лицо, перехватывал горячий взгляд. Борис, что называется, входил в раж.

Вдруг он коротко и энергично взмахивает удилищем, и я вижу, как натянутая в струну леска косо идет в

сторону. Борис решительно прыгает с камня и бредет к песчаной отмели, волоча тяжелую, неистово бьющуюся рыбину...

Подмывало желание сменить место, подойти поближе к Борису. Но это уже не хорошо, это не по-рыбацки. Я продолжал стоять на своем камне, упрямо работал катушкой — поднимал и опускал по течению леску. Я видел, как прыгал по гребешкам волн червяк, насаженный на крючке, как плескались вокруг него мелкие жадные гольяны, которых ребята называли вандышами. А настоящей поклевки не было.

Тем временем Борис вернулся на камень и едва успел стравить леску, на крючок сел второй крупный хариус. Таким же приемом Борис вывел на берег и его.

А меня рыба забыла. Я все же решаю перебраться поближе к Борису, хотя знаю, что он будет сердиться. Спускаюсь с камня, а Борис молчком тянет третьего хариуса. Тут я плюнул на всякую рыбацкую вежливость и напрямик побрел к нему.

— Стой! — закричал Борис с берега. — Прибавь груза, чтобы червяк не прыгал поверху, опусти его на дно и медленно подтягивай.

Я прибавил груз, спустил леску и... тут же почувствовал упругий рывок. Подсек! Удилище забилося в руках, будто по нему прошел ток, жидкий конец его несколько раз хлестнул по воде. Попробовал крутить катушку — не поддается.

Ухнул в воду и по примеру Бориса волоком потащил добычу к берегу. На песке хариус принялся лопатить хвостом и задавать такие «свечки», что грозил перервать хваленые лески. Я упал на него, придавил грудью.

Это был увесистый, килограмма на два красавец, с широким приплюснутым рылом, с вытянутыми в ка-

пельки зрачками и высокими плавниками-стабилизаторами, способными удержать рыбу на любой стремнине. Окрапленные мелкими разноцветными пятнами плавники радужно переливались на солнце. Такой красивой рыбы я еще не видел.

Мы сдержали слово. Теперь к нашему столу прибавилась свежая первосортная рыба. Мы поймали семнадцать хариусов, а это два дня «подножного» питания.

Солнце клонилось к западу. Отдохнули мальчишки, подкрепились телята и кони. Поел жирной ухи, подремал сидя Борковский. Пора было отправляться дальше. До ночи нам предстояло пройти трудный заболоченный участок в долине Цепёла, переправиться через бурный Ошмыс. За Ошмысом есть большой выпас, на котором Борковский рассчитывал хорошо подкормить телят, чтобы завтра форсированным ходом одолеть последний, самый длинный отрезок пути до полян.

Сразу за Усть-Цепёлом в глубокой чахлой низине начались болота. Телята увязали в вонючей пузырястой грязи, прыгали, роняли друг друга. Под слоем воды и грязи попадались старые гати. Животные проваливались ногами между ослизлых бревен, неловко, с ревом и стоном падали. Мы поднимали, вытаскивали их. Чтобы не растерять животных, Борковский разбил стадо на три группы.

Вот где досталось! Теперь уже казалась легкой та дорога, которую мы вчера называли трудной. Мы гнали телят напропалую, не особенно выбирали путь. С ходу животные смелее брали тряские топи. Ребята, разгоряченные работой, были неузнаваемы. С ног до головы обляпанные грязью, вспотевшие, возбужденные, они без усталости бегали за телятами, словно носили их не ноги в набрякших обутках, а легкие крылья.

— Ходом! Ходом!— со всех сторон слышались их голоса.

В этот ответственный момент изменился и Филоненко-Сачковский. Захваченный общим подъемом, он будто очнулся от долгого забытья, отбросил прочь сонливость и безразличие. Первый раз метеором летал по просеке, что-то кричал, негодовал.

— У, ёк король!— ухарски орал на телят Сашка и устрашающе крутил над головой жидкой вязиной. Животные не ждали, когда на их спины посыплются хлесткие удары, бежали, едва заслышав Сашку.

Но его в эти минуты никто не замечал, так же, как не замечали друг друга и остальные ребята. Все в них — воля, нервы, сила — было подчинено одному: скорее миновать это гибельное болото. Размашистый и грубоватый Володька Сабянин, осторожный и деликатный Коля Антипов, непоседливый Миша Паутов и замкнутый Сания Третий — разные и непохожие друг на друга, сейчас они жили одним дыханием, горели одним пламенем. И было в этом всеобщем трудовом горении что-то приравняемое к подвигу. Небольшому ребячьему подвигу, где каждый сознательно отдавал себя без остатка общей цели — сохранить, без потерь прогнать через топи колхозное стадо.

Давно отвернула, ушла в сторону Язьва, теперь где-то справа бурлил Цепёл. Скрытый лесом, он лишь иногда проблескивал меж деревьев студеной синью. Но и он скоро ушел в сторону.

Поздно вечером выбрались, наконец, на берег Ошмыса. Неприветлив, сердит Ошмыс. С глухим урчанием катит он по каменистому руслу поднявшиеся от дождей мутные воды. Здесь предстояла последняя и самая серьезная переправа.

Мы долго ходили по берегу, подыскивали подходя-

щую переправу. Борковский по пояс забредал в ледяную воду, вымеривал, прощупывал палкой дно. В горах шли дожди, река быстро набухала. Приди мы к Ошмысу днем позже — и загорать бы нам тут, ждать спада воды.

И вот переправа выбрана. Глубина в этом месте метровая. Борковский приказал загонять телят в реку немного выше — напор воды снесет их на мелкое место. Телят не следовало загонять всех враз, иначе образуется затор, и мы можем многих не досчитать.

На животных жалко было смотреть. Сбитые на берегу в тесный гурт, грязные, уставшие, телята тоскливо мычали и в страхе косились на реку. В переходе по болоту они в кровь изодрали ноги, животы, бока. Несколько телят сильно хромало, у одного выткнут глаз, а один даже оказался без хвоста.

Телят пересчитали. Все сто четырнадцать.

У нас уже был на примете смелый сильный бычок с упругими мускулистыми ногами и широким белым лбом. Это он первым перешел Северный Пулт, ему предстояло начать переправу и на Ошмысе. Бычок упирался, пугливо тарасил на окружавших его людей диковатые глаза, и вдруг, как и в первый раз, неожиданно ринулся в воду. Течение подхватило его и боком понесло на мель. Коснувшись ногами дна, он наискось тяжело побрел к противоположному берегу. А там уже с куском хлеба стоял Серафим Амвросиевич и ласково звал:

— Теля, теля, теля...

Лиха беда начало! Опасливо пофыркивая, спустился в воду второй теленок, за ним третий, четвертый, и вот животные ровной неторопливой цепочкой, с высоко поднятыми хвостами, пошли друг за другом, сопровождаемые нашими бодрыми окриками.

С лошадьми дело обстояло проще. Эти безропотные тудяги полностью полагаются на человека и пойдут за

ним хоть к черту в пекло. Сначала переправили на них выюки, затем поочередно перевезли всех ребят.

Мы не намеренно оставили Филоненко-Сачковского в хвосте очереди. Но получилось так, что он оказался последним. Сашка воспринял это без особой обиды, хотя на всякий случай разулся и снял штаны...

Скрылось, ушло греть другой край земли солнце, мгlistой дымкой подернулись вечерние дали. В меркнувшем небе вспыхнула, задрожала неровным светом одинокая звезда. Сегодня не слышно было говора в палатках. На траве лежала немытая посуда. Вокруг костра на колышках привычно сушились сапоги, портянки и грязные, драные одежды ребят. Здесь же висели еще недавно блестящие сапожки Толи Мурзина. Они просвечивали дырами.

Трудный был переход.



Цепёльские поляны

Ош по-пермяцки медведь, мыс — река. Ошмыс в переводе на русский означает медвежья река. Почему именно Ошмыс — медвежья река, а не

Цепёл и не Язьва — мы не знали, но Абросимович утверждал, что здесь царство медведей. Утром мы убедились в этом.

Сквозь сон я услышал непонятные звуки, напоминающие удары бубна. Проснулся Борис и тоже прислушался. Странные звуки перемежались с глухим мычанием телят. Борис вылез из-под одеяла, откинул полог. Влажный холод хлынул в палатку. Поляна белела от инея. У ворот тесного, только вчера подновленного осека, у костра сидел Борковский и методично ударял березовой палкой по пустому ведру.

— Ты что делаешь? — изумился Борис.

— Ош пожаловал. Всю ночь колобродит, леший, — сердито ответил Абросимович и сильно ударил по ведру.

— А зачем стучишь?

— А что же делать? Огня он не боится, стрелять нельзя — только и осталось стучать.

— Ну почему же нельзя стрелять, раз такой он настырный?

— Э-э, — предостерегающе протянул Борковский, — попробуй-ка, выстрели! Телята живо разнесут загон, а зверю того и надо.

Я все же взял ружье, оно всегда было под боком, и мы подошли к Серафиму Амвросиевичу. И только тут увидели Шарика. Пес, не глядя на нас, пугливо жался к костру, вздрагивал от каждого шороха.

— Где он, ош?

Борковский указал палкой на молодой ельник. Глянули мы — и оторопели: в густяке, метрах в ста от осека, сидел огромный бурый медведь. Сидел спокойно, широко расставив лапы, поводя трепетным носом. По всему было видно, что он считает себя здесь полным хозяином, и вот удивляется, кто же это без его ведома расположился на поляне?

Учитель опять предупредил:

— Не вздумайте стрельнуть! Телята и без того ходунном ходят.

Борис бросил в медведя дымной головешкой. Животные заволновались. Абросимович подбежал к воротам, успокаивающе запел:

— Тели, тели, вы милые, вы хорошие...

Зверь нехотя поднялся, недовольно заурчал и отправился восвояси, переваливая из стороны в сторону мясистый засиженный зад.

За дни и ночи, проведенные в лесу, мы так привыкли к близкому соседству всякого непуганого зверья, что даже визит медведя не произвел на нас особого впечатления.

Хотелось спать. В тепле у костра так и клонило голову. Но спать было уже некогда. Надо выгонять телят и пасти до восхода солнца. Вылез из палатки, загремель посудой Александр Афанасьевич. Он долго искал свое закоптелое ведро, а когда увидел его опрокинутое на колу, схватился за голову: ведро было до неузнаваемости измято....

Пока Патокин варил уху, мы с ребятами выгнали на поляну скот. Сегодня и разглядели ее как следует. Большая, вырубленная от леса площадь на берегу Ошмыса когда-то застраивалась домами. Безвестные переселенцы называли поселок Слуткой. Построили несколько улиц добротных домов, подняли подзолистую целину. Но что может вырасти на скудной земле, которую к тому же все лето бьют заморозки? Оставили люди и пашню, и свой поселок. Так же, как на Усть-Цепёле, остовы полусгнивших домов заросли бурьяном, вдоль улиц качались березы. Неприятный осадок оставляют в душе покинутые людьми поселения.

Кажется, первый раз за всю дорогу Борковский по-

спал. Мы пришли завтракать второй партией и застали его мертвецки спящим на раскинутой палатке.

— Уснул и есть не стал,— торжествующе сказал Александр Афанасьевич.— Говорил я, свалит его сон. Свалил...— Патокин осторожно, стараясь не брякнуть посудой, разливал по кружкам уху.

— А оставили Серафиму Абросимовичу-у? — озабоченно осведомился Миша Паутов.

— Оставил,— сказал Патокин и в подтверждение показал ложкой на ведро, пристроенное с краю костра на угольках. Миша проверил, сколько в ведре, и, не задумываясь, отлил в него из своей кружки. Словно сговорившись, ребята разом поднялись и сделали то же. Напрасно мы их уговаривали, напрасно Саша предлагал добавки. Ребята больше не пригубили ароматной наваристой ухи.

И вот тут подумалось: чем мог учитель заслужить такую любовь и такое уважение? Мы ни разу не слышали, чтобы он кого-нибудь похвалил, не видели, чтобы кого-нибудь приласкал, погладил по головке. А в глазах ребят он был самым большим человеком. Как-то невольно, сами того не замечая, ребята перенимали его привычки, старались во всем походить на него. Серафим Амвросиевич умел коротко и точно выражать мысли, и все сказанное им они воспринимали, как закон. Борковский ничего не делал наполовину, за что ни брался — все доводил до конца. Еще не нами сказано: с кем поведешься, от того и наберешься. Подумаешь — и верно: зачем ребятам лишний раз надоедать наставлениями, они и сами много видят. И видят то, что светит ярче, что больше производит впечатление. А Борковский горел как факел — и душой, и делами.

Как только солнце разогрело и размягчило окостеневшие от ночного холода травы, мы завьючили коней и

покинули Slutku. Впереди последний двадцатикилометровый переход — и поляны. Некоторое время путь лежал вдоль берега Ошмыса, затем опять берегом Цепёла, потом круто отвернул от рек и прямехонький, без единой колдобины, без единой мочажины устремился на восток, в гору.

Шли долго, бесконечно долго. Позади много осталось гор, но такой крутизны, такого длинного прямого тягуна еще не одолевали. Через каждые двести-триста метров ноги отказывали, и мы садились. Перегруженное сердце бесновато колотилось в груди, готовое вырваться наружу.

Кони тоже изнемогали. Они только того и ждали, когда останутся люди. Сразу ложились, тяжко раздувая взмыленные бока. Особенно выбивалась из сил худая белая кобыла. Она всей утробой храпела и не ложилась, а падала, сваливая через голову вьюки. Мы давали ей отдохнуть, уговаривали, как человека, подняться. И она вставала — сперва на колени, потом вздымала костистый зад и уж затем резким движением — на все четыре ноги. И опять шла.

Но, странное дело, телята бежали, будто настеганные! Мы с лошадьми шли впереди, и телята все время поджимали нас. Наверно, животные чуяли близкий отдых или торопились поскорее выйти из глухого надоевшего леса.

Я с опаской поглядывал на Бориса. Выдержит ли парень этот марафон? Лицо его побагровело и опухло. Лишь когда я подходил к нему и осторожно спрашивал про самочувствие, хрипло ругался:

— Какое тебе до меня дело? Шагай, пока свои ноги несут! Это радовало: если Борис сердится, значит, еще потянет.

С некоторых пор я начал замечать, что лес стал реже и ниже. Где-то, на какой-то высоте мы вступили в

зону субальпийской растительности. Теперь уже не увидишь стройных высоких елей, их сменили низкие, с уродливо изогнутыми стволами пихты да лиственницы. Реденько попадались на глаза согнутые в дугу, скрученные в веревку березы. Робко, как за подаванием, протягивали они к неверному здешнему солнцу узловатые ветви с мелкой морщинистой листвой.

По времени мы вроде бы давно прошли эти двадцать километров, а конца пути не видать. Неужто это опять «лесные километры» Серафима Амвросиевича?

Борис остановился, качнулся, как пьяный, схватился рукой за коряжину.

— Ничего... пройдет. Сердце перебивает...— с трудом выговорил он. Мы сели на лежавший у дороги пихтовый выворотень. Две лошади, Петька и губастая чалая Машка, шедшие за нами в поводу, ухнули наземь, где стояли.

Борис порылся в кармане, достал баночку с валидолом.

— Во лапа!— сказал он и взвесил растопыренную пятерню.

Пальцы на его руке сильно распухли. А когда у человека с больным сердцем отекают руки... Тут я больше не стал слушать Бориса, решительно стащил с кобылы вьюки и перевалил их на Петьку. Борису приказал:

— Садись!

Однако я опоздал. Не проехал Борис и ста метров, как лес с правой стороны вырубая раздвинулся, открывая вид на обширную покатуую поляну с травой по грудь человеку. До следующей, не лесной, а настоящей альпийской поляны, во сто раз большей, с избушкой, со скотным двором, было рукой подать, но загнанные вконец кони легли и перестали повиноваться. Мы стащили с них вьюки и сами растянулись рядом на мягком прохладном ковре цветущих трав.

Неоглядная горная страна легла перед нами десятками лесистых хребтов, туманными распадками, глубокими долинами, привольными альпийскими лугами. Поражал открывшийся простор, вещественная объемность увиденного. После леса, болот и комаров, чувство, охватившее нас в этом море света и далей, пожалуй, можно было сравнить с состоянием птицы, которую долго держали в тесной и темной клетке, а потом вдруг сразу вознесли в заоблачную высоту. Если бы мы могли разобраться во всем этом сложном скоплении хребтов, кряжей, долин, если бы умели отличить среди многих гор те, которые миновали, мы проследили бы весь наш путь. Но пока мы «знали» один Золотой Камень, да и тот показал Борковский. Золотой Камень теперь мы видели с обратной, северной стороны, а лучше сказать — сверху. Еще недавно казавшийся недостижимой высотой, он покорно лежал под нами, и ничто не мешало рассматривать его пологие вершины и раструбы.

И это было приятно. Отсюда мы видели грандиозную голую ширь Кваркуша, безраздельно господствующую над окрестными высотами. Кваркуш — высоченное плато оконечности Северного и начала Приполярного Урала. Оно венчает хитроумное сплетение множества отрогов и замыкает узел горных цепей. Небесным мостом перекинулся Кваркуш с юга на север, лишь изредка пересеченный темными впадинами глубоких оврагов, да шишкастыми нагромождениями будто от взрыва рассыпавшихся древних горных вершин. Ближняя и наиболее сохранившаяся из них — Вогульская сопка. Она, как купол собора, сверкает под солнцем долго не тающими снегами.

И облака. Ослепительно белые, серебристые, они табунами лежат по плато — то плоские, вытянутые, то

глыбистые, многоэтажные, вздымающиеся в профильтрованную синеву беломраморными громадами. Непривычно было видеть эти лежащие на земле облака. Вечно странствующие, они нашли наконец заповедную тихую землю и неслышно опустились на нее отдохнуть. Да и забылись, убаюканные обманчивой тишью...

Туда, к лежащим на земле облакам, мы уйдем завтра поутру. В бывшей фактории с названием «Командировка» будем жить и пасти телят до прихода пастухов. В «Командировке» есть загон, скотный двор, пустующие дома и баня, по которой все порядком соскучились.

Погода стояла хорошая, и мы не торопились. Правда, солнце все чаще закрывали подозрительные сгустки пока еще прозрачных низких тучек, а земля парила от недавних дождей. Но нам казалось, что никакая погода не в состоянии омрачить ликующей красоты альпийских лугов.

Было еще рано. Мы отпустили телят и коней на простор, и Борковский предложил мне и Борису сходить с ним к причудливо возвышавшемуся на холме гранитному останцу. Он забежал в дом, захватил ящик с красками. Узкая, вымощенная подорожниками тропинка повела сперва в глубокий лог, а затем, огибая низкорослый курчавый ивняк, змейкой повилась на холм. Сырой лог плавился на солнце от бронзово-желтого цветения купальницы и лютика. Здесь же поднимались сочные, раскидистые чемерицы, трубчатые стебли хвощей, белые шапки соцветий лабазника, белые заросли осоки и дикого лука.

Дальше, на взгорке, травянистый покров менялся и был как бы урезан в росте. Среди рожиц манжетника, серебристой лапчатки и лугового щавеля проглядывали белые лепестки альпийских подснежников, будто

рассыпанный бисер, голубели незабудки, выбрасывала, словно впрыскивала в солнечное тепло, запашистые бутончики грушанка, которую так часто путают с ландышем. А еще выше, на сухом склоне холма, лиловели печально опущенные кисти кукушкиного льна, дремали опоенные теплом, звездчатые розетки гвоздик, тихим розовым пламенем млели пестики раковой шейки.

И опять марьины коренья. Их было много по опушке густого карликового леса, в темной нависи крон деревьев они светились красными сигнальными огнями. Есть в этом цветке что-то торжественное, точно предупреждающее: «не тронь, а то ожжешься!»

Из-под ног с криком вылетел бекас и сполошно понесся низом лога. Борковский остановился, раздвинул носком сапога траву. Под кочкой в маленьком углублении лежало едва приметное яйцо.

— Вот, смотрите,— сказал Серафим Амвросиевич,— все здесь запаздывает на месяц. И растения, и птицы, как бы сдвинули календарь с мая на июнь. В нижнем лесном поясе травы уже отцветают, а здесь только начинают цвести. Там у гнезд слетки, здесь только первые яички. Больно уж короткое тут лето — в конце мая сходит снег, а в августе выпадает новый. Да и старый-то не весь стаивает — на северных склонах лежит все лето. А травы здесь растут по вершку в сутки! И они особые, «закаленные». Чуть холод — свернулись, прекратили рост; выглянуло солнышко, обогрело — прут, как на дрожжах.

Мы поднялись на холм. Отсюда еще лучше просматривался Кваркуш. Серо-зеленый мшистый покров его, испятнанный тенями облаков и росписью цветов, делили на куртины белые хвосты снега.

— Вот оно, приволье какое! — широким жестом обвел учитель Кваркуш. — Пять лет гоняю сюда скот и

все не могу наглядеться... Простору-то сколько! Говорят, где-то за Кутимом живет старая вогулка, так она помнит эти горы еще голыми. Лес здесь вырос за последние шестьдесят лет. А то все были луга, травы.

Борковский сел на камень, поставил у ног ящик с красками. Борис изучающе посмотрел на ящик и спросил:

— Где ты хранишь холсты?

— В ящике. Тут у меня, брат, целая мастерская.

Серафим открыл крышку. На дне ящика в решетчатых отделениях лежали тюбики с красками, флаконы с растворителем, кисти. Сверху все это прикрывала плохо промытая палитра. А в глубокой крышке, как сотовые рамки в улье, аккуратно стояли, не прикасаясь одно к другому, загрунтованные полотна.

— Много я их не беру. Вот пять приготовил, пять измалюю.

— И давно «малюешь»?

— Да как сказать, не считал годы, наверно, с детства. А маслом стал мазать здесь, на Кваркуше. Шестой раз тащу сюда этот багаж...

Серафим Амвросиевич не считал свое давнее увлечение живописью настоящим творчеством и не называл его иначе, как «балуюсь», «малюю», «мажу». А между тем это «баловство» давно перешагнуло грань простого увлечения. Поиски, срывы, вечное неудовлетворение своими работами, короткая светлая радость удачи, снова разочарования и поиски — стало его уделом. И если все это помножить на бессонные ночи, на многочасовые комариные «кормежки», если учесть, что до всего надо дойти самому, постичь нелегкое мастерство без специальной подготовки, станет ясно: это большой труд, название которому творчество. Такой вывод мы

сделали позднее, когда возвратились с Кваркуша и побывали в доме Борковского. Стены его квартиры были сплошь увешаны картинами.

Я сказал:

— Почему ты, Абросимович, так небрежно говоришь: «мажу», «малю»?

Борковский со значением прищурил глаза.

— А как же называть? Творю, что ли? Это уж вы творите. Вам сподручнее. Написал рассказ — писатель, нарисовал картинку — художник...

Серафим Амвросиевич достал сигарету, долго разминал ее потрескавшимися пальцами. Ногти на них толстые, бугристые. Нет, это рука не интеллигента, это рабочая рука. Может быть, у всех сельских учителей руки такие, много умеющие делать?

— Я вот люблю скотину и технику, рыбалку и рисование,— будто отвечая на мои мысли, продолжал Абросимович,— ухаживаю и за телятами, и за котятами, гоняю и на машине, и на тракторе — ничего, что одна рука, справлюсь — шатаюсь по лесам, рисую. Повашему выходит я и зоотехник, и механик, и художник, и еще черт знает кто. Учитель я. А учитель многое должен знать, многое уметь.

— А что ты преподаешь?— спросил Борис.

— Все то и преподаю, чем занимаюсь сам: рисование, географию, литературу, труд. Все, что требуется.

Хоть и взял Борковский с собой краски, писать ему сегодня не пришлось. Это был первый вечер, когда мы могли спокойно провести несколько часов одни, не опасаясь ни за телят, ни за ребят. С вершины холма мы видели стадо — телята разбрелись по лощине и усердно жевали пахучее разнотравье. Отсюда они никуда не побегут.

Борковский решительно закрыл ящик.

— Во-он наша «Командировка», видите? Двенадцать километров до нее отсюда вместе с обходом.

За лесистой сопкой, у подножия Кваркуша, чернели на зеленой луговине игрушечные домики и сараюшки.

— Там все луга и луга, а в самом низу, за этой сопкой — Цепёл. Тут он начинается. Поэтому и поляны Цепёлские. Еще есть Язьвинские поляны. Они по ту сторону Кваркуша. Всего их — у Цепёла, у Язьвы — около девяти тысяч гектаров. А травушка-то на них! Из пушки не прошибешь!

Борковский спохватился:

— А вы чего стоите? Садитесь! Уж если на то пошло, то сейчас я вам всю историю этих полян выложу. Они есть и дальше, за Главным Уральским хребтом, или, как его называют манси, за Большим Кваркушем. Однако сами-то манси пригоняют оленей сюда, на Цепёлские и Язьвинские поляны. Есть такая травка, трехлистником называется, так олени ее здорово любят. А по Кваркушу ее много.

Говорил Борковский увлеченно и часто повторял то, что хотел особо выделить. Отбросив докуренную до пальцев сигарету, продолжал:

— Тут вот с чего надо начинать. Здешние альпийские луга делятся на три климатических пояса. Каждый имеет свои особенности. На нижнем растут осоки, дягиль, на среднем все — от осоки до злаковых. Средний пояс основной, самый богатый, на нем большая площадь свободных от кустарников лугов. На верхнем, самом бедном поясе — мхи, лишайники, но есть и высокогорные травы. Всего же на альпийских лугах более двухсот пятидесяти видов трав.

Вы спросите: почему на Цепёлских и Язьвинских полянах растут травы, успевают за короткое лето

достичь семенной спелости, а на полянах за Большим Кваркушем — камни да мох? А вот почему. Юго-западные склоны гор, на которых раскинулись Цепёлские и Язьвинские поляны, защищены от холодных северных ветров Главным Уральским хребтом. Здесь чаще стоят ясные дни, луга получают больше солнца, а умеренно мягкий, влажный климат помогает бурному росту трав.

— А давно ли узнали о полянах?— спросил Борис, усаживаясь на камень рядом с учителем.

— О полянах? Давненько. Вот если не ошибаюсь, километрах в восьмидесяти отсюда, в поселке Кутим в конце прошлого столетия работал чугунолитейный завод. При заводе содержали лошадей. Ну, а где для них заготавливать корм, как не на полянах? С того времени и началось. На полянах косили траву, ставили в стога, а зимой вывозили в Кутим. Но завод вскоре прикрыли, лошади стали не нужны, и поляны забыли.

Вспомнили о них через много лет. В тридцатых годах освоить поляны пытался леспромхоз. Этот леспромхоз и построил на подступах к полянам поселки Усть-Цепёл и Слутку. Но из-за отдаленности, из-за сурового климата, из-за тяжелых условий доставки продуктов освоение не двинулось дальше создания поселков.

Заглохло это дело, поляны опять забыли. Однако на этот раз не надолго. Привольные, богатые травами альпийские луга притягивали к себе хозяйственников. В тридцать пятом, тридцать шестом годах колхозы Красновишерского куста заготавливали здесь сено, пробовали пасти отгульный скот. Привезли сюда кой-какие сеноуборочные машины, построили дома, скотные дворы, на пастбищах огородили загоны.

Но и они вынуждены были свернуть дело. Не поддавался золотой орешек. Короткое лето, неустойчивая

погода, снежные бураны, которые здесь бывают даже в июне, не дали развернуть и укрепить хозяйство.

И все-таки люди не отступали. Слишком много на полянах отмирало и гнило сочных трав, в то время, как Язьвинские колхозы век свой испытывали недостаток в пастбищах. А в последние годы тем более. В последние годы колхозы споро взялись за подъем животноводства. Потребовались дополнительные угодья для выпаса скота.

И вот снова обратились к полянам...

Тут Борковский умолк, задумчиво засмотрелся на затуманенные вечерней дымкой горы. Учитель что-то вспоминал, к уголкам его прищуренных глаз лучиком сбежались морщинки, сухие губы растянулись в сдержанной улыбке. Серафим Амвросиевич, всегда спокойно рассказывая или внимательно слушая, улыбался. И эта хорошая улыбка располагала к себе собеседника.

Как он не походил в эти минуты на того крутого, не знающего покоя руководителя нашего отряда, каким мы привыкли видеть его! И опять мы думали: до чего все же много дано человеку! В нем благоприятно совместились все: глубокий ум, знания и ответственность коммуниста, который всегда на переднем крае и который за все в ответе.

— Так вот с чего начался этот подъем животноводства, — вернулся к своей мысли Борковский. — Колхозное начальство не оставляло надежд на использование полян. Да только как осилить с телятами почти стокилометровый путь, по тайге, по горам, по малохоженной, заваленной буреломом дороге? Но рискнули. Семь лет назад пастух колхоза «40 лет Октября» Тимофей Паршаков прогнал на поляны восемьдесят семь голов молодняка, пропас стадо до осени и получил неслыханный привес — чуть не по килограмму в сутки на каж-

дого теленка! Паршаков доказал, что скот на поляны прогнать можно, что дело выгодное, и этим положил начало.

Другим летом на альпийские луга погнал скот еще один колхоз, на третий год — четыре колхоза. А в последние годы на здешних пастбищах отгуливается скот шести-восьми колхозов, общей численностью до двух с половиной тысяч голов.

Вот такая тут арифметика.

Борковский знобко передернул плечами, встал. Улыбка с лица исчезла.

— Все это, конечно, хорошо: и что скот гоняем на поляны — хорошо, и что привеса добиваемся порядочного, и что это дело рук ребяташек. Хорошо, когда смотришь на это издали, как на факт, не заглядывая вглубь. А когда поближе взглянешь, сам попробуешь, «почем фунт мяса», на поверку выходит, что радоваться особенно-то и нечему. Не все гладко, не все хорошо. Ведь даже молодняк угоняем не весь. В возрасте до года оставляем. Невыгодно, большой падеж. А почему падеж, наверно, сами догадываетесь: молодые, неокрепшие телята не доходят, не переносят гибельной дороги. И никого эта дорога, кажется, не интересует. Ни председателей колхозов, ни район. Лишь бы гоняли скот, а как достается этот прогон — только медведи видят...

Борис сказал:

— Послушай, Серафим Амвросиевич, ведь на первый случай не надо много затрат. Надо всего-навсего одну бензопилу «Дружба», да на недельку, на две — бригаду дюжих парней. Распилят, растащат завалы — вот тебе и дорога.

— Правильно, — согласился Борковский. — Но бригаду рабочих и ту самую чудо-пилу просили не раз. И обещали. И не давали. Дескать, затраты. Они, затраты,

конечно, будут, но разве сравнишь их с теми потерями, какие сопровождают почти каждый прогон? Сколько раз телята убегали в тайгу на съедение медведям, сколько их, бедных, поломало ноги! Это нам сейчас повезло, сохранили стадо. Но тут не сбрасывай со счета и такую штуку — погоду. От нее, брат, многое зависит.

Борковский помолчал и добавил:

— Не мешало бы забросить сюда соли. Тут пресные травы. Если каждый день давать животным соль, они лучше прибывают в весе. А как ее забросить? По дороге? Не выйдет. В прошлый год райисполком выделил вертолет, и соль на поляны была доставлена за сорок минут. А нынче не обещали. Дорого. Все дорого, а ведь ребята бесплатно гоняют скот. Сами просятся, да с таким азартом, что отбою от них нет...

В это время от дома послышались крики.

— Нас потеряли, — сказал Борковский. — Однако и пора. Прохладно стало.

Над изломанной линией далеких гор в мареве заката желтым кругом висело остывающее солнце. Оно уже не грело. Низом Кваркуша потянул свежий, проникающий под каждую былинку ветер. Потревоженные облака поднялись с земли, и, грудясь, перемешиваясь, волнами потянули вдоль хребта. Воздух быстро остывал, попрятались насекомые, замолкли птицы.

Мы спустились в лог. Цветы тоже приготовились к холодной ночи. Купальницы плотно соединили жесткие, негнущиеся лепестки и теперь походили на упругие пластмассовые шарики. Задетые ногами, они шуршали, как фольга. Марьины коренья весь день смотрели на солнце, медленно поворачивались за ним, закручивая стебли, а когда оно ушло за кромку леса, разом сникли и померкли. С трудом я раздвинул пальцем замкнутый бутон. Мясистые, кроваво-красные лепестки

пружинили и вытесняли палец. В оливковом сердечнике капелькой притулился блестящий жучок.

Учитель потянул носом воздух, посмотрел вокруг.

— А ведь, похоже, завтра дождь будет. Вогульский «бог» сердчает... Во-он его вотчина,— Серафим показал на Вогульскую сопку.

Еще час назад сверкавшая снегами Вогульская сопка была сейчас наполовину скрыта низкими густеющими тучами.



Вогульский
бог
сердчает...

Ночью нас разбудил отчаянный визг Шарика. Собака неистово ломилась в дверь, царапала ее когтями. Едва Абросимович приоткрыл дверь, она влетела в помещение и, мокрая, бросилась через спящих вповалку ребят под нары.

— Опять принесло, бандюгу!— зло выругался Борковский, сдернул с гвоздя одностволку, выскочил в дверь. Я знал, кто такой «бандюга», ощупью нашел в темноте второе ружье и выбежал за ним.

На воле полоскал дождь. Рыхлые тучи висели над самой землей. Сырой холодный туман волнами скатывался с крыши избушки и, редая, расстилался над травой. Сквозь шум дождя слышно было, как топали и бесновались запертые в скотнике телята. Напротив, в сарае, фыркали кони. По тонкому, как свист, ржанию я узнал Петьку. Он услышал людей и зывал о помощи.

Мы обошли сарай, успокаивая лошадей голосами, и направились к скотному двору. Серафим неслышно ступал впереди по сырой, спутанной дождем траве. Редкие бревенчатые стены скотника по крышу заросли крапивой и лебедой. Напрасно мы подкрадывались. Зверь не дурак, чуял в доме людей и лез к телятам с той стороны, откуда ему было видно дом. Это мы узнали по следам на свежем навозе. Медведь пытался вывернуть на уровне своего роста плохо сидевшее бревно, но не успел — Шарик выдал его.

Борковский выстрелил в небо, бросил пустую, пахнущую пороховыми газами гильзу у ворот скотника, и мы ушли досыпать.

— И впрямь сердится на нас вогульский бог... — шутил Абросимович, укладываясь на лежанку. — Не хочет нас принимать. Идешь в его владения — дар преподнеси, теленка отдай или лучше лошадь. Видишь, медведей напускает, непогоду устроил. Чего доброго, и снег уготовит. Это за ним водится. Вогулы раньше считались с богом. Да и теперь иные побаиваются... Так Санчик говорит.

— Какой Санчик?

— Есть тут один. Оленей пасет на Кваркуше. Скоро познакомитесь.

Спать больше не хотелось, и я до утра лежал с открытыми глазами, слушая нестройные рулады богатырского храпа Саши Патокина. По дощатой крыше не-

умолчно барабанил дождь, под нарами возился все еще не оправившийся от страха Шарик. Почему-то думалось, что медведь повторит попытку проникнуть к телятам, и я не разряжал ружья.

Но зверь не пришел.

С рассветом дождь прекратился. В разрывах туч обманчиво заголубело небо. Мы быстро завьючили коней и погнали стадо через длинные травяные поляны в обход заросшего кустарником болота к Кваркушу.

Не долго довелось нам любоваться Кваркушем. Раньше его скрывало от глаз расстояние, теперь — тучи. Они облегли Кваркуш плотной непроницаемой завесой.

Не прошли и половины пути, снова полил дождь. Он с каждой минутой усиливался. Тучи легли на землю и, клубясь, медленно ползли навстречу серой мрачной лавиной. Все потонуло в тумане. Иногда туман настолько сгущался, что в двух шагах нельзя было распознать человека. В этом холодном пару мы плавали, как в молоке, запинаясь, сбегались друг с другом, натыкались на телят. Где-то в стороне слышался приглушенный крик Борковского:

— Тесней, тесней поджимайте! Не пускайте в тучу! Идите на мой голос!

Мы гудили телят, подгоняли отстающих, свистели, хлопали вицами, направляли стадо на голос учителя.

Кони шли, как всегда, впереди стада. С ними один Патокин. Александр Афанасьевич спасал мокнущие сухари. Все, чем можно было дополнительно укрыть мешки, он пустил в ход. И свой плащ тоже.

— Вот ведь напасть! — отчаивался Саша. — Пять километров не дотянули! И дернуло же Абросимовича тащиться по дождю!

Без того небогатые наши харчи на глазах приходили

в негодность, и мы были бессильны их сохранить. Из мешков с сухарями капала густая, бурая, как патока, жижица.

А дождь лил и лил. С горы, куда лежал наш путь, по неглубокой ложбине стремительно текла мутная вспененная вода. Телята скользили, падали. Покатился назад с крутого бугорка, запереребирал судорожно ногами старый колченогий мерин Тяни-Толкай. Не сдержал равновесия и плюхнулся на бок. Патокин подбежал к бьющемуся коню, схватил длинный конец ременного повода, да так и ахнул, увидев рассыпанные, вмятые в грязь сухари. Мерин раздавил угодивший под него мешок.

Все, кто был поблизости, бросились на помощь Саше, отвели канистры, стали набивать сухарями карманы, шапки. Ребята совали их за пазуху, тут же ели. Но нагрянули телята, и с сухарями было покончено в минуту.

За дни похода все мы очень привыкли к нашему заботливому шеф-повару, ценили его рачительность и вместе с ним переживали неожиданную утрату. Без плаща, без куртки — все было на выюках — Саша отрешенно брел стороной. Мне не забыть его вид — в белой, вернее когда-то белой, облепившей тело рубахе, с мокрыми растрепанными волосами, в тяжелых от воды брюках, которые не держались на подтянутом животе и сползали на бедра, гармошкой наслаиваясь на голенища сапог. Патокин не чувствовал ни дождя, ни холода, шел не разбирая дороги, потерянно глядя под ноги.

Валерка Мурзин подошел к Александру Афанасьевичу и, как мог бодро, сказал:

— Вы тут ни при чем. И Тяни-Толкай тоже ни при чем. Кавалерия у нас чинная! Я виноват, потому что был рядом и не поддержал Тяни-Толкаю..

Упади вместо Тяни-Толкая Петька или там Сивка, Патокин не преминул бы, наверно, сорвать зло на лошади. Но старый, умный Тяни-Толкай был самым послушным меринком в нашей «кавалерии», к тому же страдал ревматизмом, и Саша ограничился мирным упреком:

— Нехорошо так, поосторожнее надо. Сам знаешь, почему сейчас сухарики...

Я побежал за отбившимся теленком и натолкнулся в кустах на Юрку Бондаренко. Он мокрой тряпицей обвязывал левую кисть.

— Что с тобой?

— Да та-ак,— уклончиво ответил Юрка, быстро натянул на забинтованную руку варежку и убежал, хлюпая сапогами. В ту минуту некогда было разбираться, что у парнишки с рукой, а в тумане я его больше не видел, и забыл о нем.

Слева от нас возникла и потянулась высокая каменная гряда. Через пелену дождя и тумана очертания причудливых нагромождений все время изменялись, создавая все новые и новые неповторимые фантастические фигуры.

— Бронепоезд,— остановившись, сказал впечатлительный Коля Антипов. Воображение и правда находило в очертаниях угловатых камней сходство с орудийными башнями.

— Крейсер это, крейсер, а никакой не бронепоезд!— решительно возразил Миша Паутов. И хотя гряда меньше всего походила на крейсер, с Мишей не спорили. Бесплезно. Не было среди ребят такого, кто бы мог переубедить его. Миша палил словами без передышки, никому не давал раскрыть рта. А если его все же оспаривали, не соглашались с ним, доказывали ему, он от обиды ревел...

Миновали моховое болото с ровной, как стол, поверхностью, обогнули угрюмый скалистый шихан, вершину которого скрывали тучи, и вышли на подступы к «Командировке». Оставалось пересечь покатую, усыпанную валунами поляну. С верхнего края этой поляны, меж уродливых, в рост человека елей мы увидели строения «Командировки».

— Шабаш, ребята!— сказал Борковский и устало сел на завалину дома.— Вот и пришли, и стадо пригна-ли. Всех сто четырнадцать! Большое спасибо вам за честную работу!

Было похоже, что Абросимович собирался сказать эти слова давно, сказать как можно торжественнее, но торжественного ничего не получилось. Ребята выслушали его без видимого воодушевления, просто так, как обычные слова, а кое-кто и не слышал их. Все промокли, устали и радовались одному, что пришли, наконец, в «Командировку», к месту, где кончается многотрудный путь, где можно отдохнуть и отоспаться в тепле.

Борковский сказал это уже после того, как пересчитали и загнали в скотник телят, развьючили и увели в конюшню лошадей. Теперь заслуженно должны отдыхать и люди.

Для жилья мы облюбовали самый большой из трех, хорошо сохранившийся дом, с кухней, просторной горницей и русской печью в пол-избы. В горнице стояли железные кровати и нары, на кухне — стол и еще одни нары. В сенях разместили седла, сбрую, в чулане — продукты. Словом, расположились капитально, с удобствами.

Но отдыхали недолго. Вылили из сапог воду, выжа-

ли портянки, одежду. В доме сразу стало сыро и холодно. Ребята, не привыкшие бездельничать, не знали, к чему приложить руки, и все, было, ринулись в чулан, помогать Александру Афанасьевичу разбирать сваленные в кучу мешки и мешочки с продовольствием. Но тут появился Абросимович, и ребятам быстро нашлась работа: одним — заготовливать дрова, другим — топить баню, третьим — таскать для постелей пихтовый лапник.

Александр Афанасьевич опять горевал над мешками.

— Сухарей у нас, братцы, осталось на пять деньков. Сахару — тоже, крупы — тоже. Короче, с сего дня надо переходить на сокращенный паек.— И Патокин тут же потребовал созвать экстренное заседание «бедсовета».

«Бедсовет» — это мы, четверо взрослых. И хотя все было яснее ясного, Саша прямо в чулане сделал подробный доклад о наличии наших продовольственных запасов.

— Сухарей — три мешка. Рисовой крупы — десять килограммов. Говяжьей тушенки — восемь банок. Сгущенного молока — семь... — перечислял он и, как полные значимости свидетельства, по одному прижимал к ладони грязные пальцы.— А нас ни много, ни мало семнадцать едоков. Вот и попробуйте, накормите всех.

— Не густо,— сказал Абросимович. И без колебаний предложил:— Пока не придут пастухи, пока не добудем мяса — каждому на день по кружке каши, по две горсти сухарей, по пять кусочков сахару и неограниченное количество горячего чая, заваренного по вкусу,— либо кореньями смородины, либо листьями лабазника.

Борковский невесело усмехнулся.

— И еще установим вегетарианскую неделю. Иногда

да это полезно... Все будем есть: дикий лук, щавель, пучки. А завтра я сгоняю к вогулам. Может, они чем помогут.

Мы понимали сложность нашего положения. Нам нельзя было покинуть поляны, не дождавшись пастухов, а они могли задержаться из-за непогоды на неделю, а то и на две, пока не спадет в реках вода, пока не исчезнет туман.

Выход напрашивался один: завалить на мясо крупного зверя.

Но это уже заботы завтрашнего дня. А сегодня — баня, отдых.

Баня вышла на славу. Протопленная, выскобленная, выжаренная, она заманчиво пахла горячим паром и распаренным в кипятке березовым листом. Мыться разделились на две группы. Пока мылась первая, вторая стирала белье в ручье в десяти шагах от бани.

Прополаскивали и мы с Борисом свою изрядно потрепанную одежду, но нас то и дело отвлекали доносившиеся из бани крики, бухающие, как выстрелы, удары веника, лязг ведер.

— Что там делается?— недоуменно спросил Борис.

— Моются, что же еще!?

— Кто же так моется?

В бане и в самом деле происходило что-то несусветное. Борис не выдержал, бросил на камень тяжелую невыжатую рубаху, шагнул к бане. Но тут вдруг распахнулась дверь, и в клубках пара на приступке порога показались сперва чьи-то белые пятки, затем красные икры, а потом согнутое в дугу туловище вылезавшего задом наперед человека. Подоспевший Шарик ощерил клыкастую пасть и хрипло взлаял. Человек покатился

к ручью и свалился в воду. Это был очумелый от жары Филоненко-Сачковский.

За ним, будто отбиваясь от пчел, размахивая руками, слепо бежал к ручью Вовка Сабянин, за Вовкой — облепленный листьями Ваня Первый, и так чередой все, кто угодил на первый пар. Последним вылетел Серафим Амвросиевич. Он чуть не снес двери предбанника, воинственно размахивая голиком (от пышного, мягкого веника остался голик!), орал с пьяным задором:

— Та-ак вас, дьяволят! Жар костей не ломит... Хворь выбивают веником...

Бесштанная команда с визгом рассыпалась в стороны.

Пошли мыться и мы. Не помню, сколько раз принимались «выбивать хворь», но до того уработались, что едва добрались до дому. После бани с превеликим удовольствием надели чистое белье и наконец-то сбрили бороды. Правда, зеркальце, как это часто бывает после тщательных сборов в дорогу, мы забыли дома. Пока размышляли, как быть, Толя Мурзин нашел старый резиновый сапог, поджег его и густо закоптил обломок стекла. Получилось зеркало. Отраженные в нем наши, даже мытые, физиономии не вызывали особого умиления.

Эту ночь мы спали! Никто не слышал стука дождя по окнам, не слышал завывания поднявшегося ветра. Пускай сердится вогульский бог, пусть сгущает над Кваркушем тучи и грозит дождем. Сегодня он нам не страшен.

А утро вечера мудренее,



По Кваркушу

Ехать к вогулам Борковскому не пришлось: рано утром они пожаловали сами.

Еще все спали, когда с улицы послышалась грызня собак. Я быстро накинул чью-то телогрейку, вышел на крыльцо.

Унылое было утро. Густая тяжелая облачность закрыла горы. Дождя не было, но сверху оседала мельчайшая водяная пыль, от которой все намокало. Тускло блестели мокрые камни, ступеньки крыльца, заготовленные возле него дрова.

За углом дома урчали собаки. Две рослые лайки пытались пролезть под дом в узкую щель между полом и землей. Из щели сверкал глазами и скалил зубы Шарик.

Я не успел подумать, откуда взялись собаки, как со стороны Кваркуша выехали верхом на оленях два человека. Один повыше, покоренастее, сидел на крупном белом рогаче. Огромные ветвистые рога отягощали голову животного. Другой человек, пониже ростом, худощавый, в плаще, накинутом на плечи и застегнутом на одну верхнюю пуговицу, ехал на бурой комолой оленехе. Подъехали, спешились.

— Мир дому!— негромко поприветствовал старший (что был повыше) и протянул широкую мускулистую пятерню.— Ануфриев, пастух. Оленей пасем.

Передо мной стоял плотный, голубоглазый мужчина лет сорока, пятидесяти, с открытым скуластым лицом и почти белыми кустистыми бровями. Шапка с обрезанными наушниками, выгоревший брезентовый плащ, туго опоясанный патронташем, закатанные охотничьи сапоги — все на нем сидело ладно, убористо.

«Какие же это манси?» — усомнился я, глядя на красивого в своем наряде пастуха, с приветливым русским лицом и чистой русской речью.

— А это Санчик, мой помощник,— так же негромко сказал Ануфриев. Санчик привязал к изгороди оленей, угнал от Шарика собак, зачем-то тщательно вытер о полу плаща руки. И лишь после этого поздоровался. Санчик был смугл, с удлинненным разрезом маленьких карих глаз. Спутанные его русые волосы выбивались из-под мокрой, сдвинутой на затылок фуражки. В одежде его все было учтено: свободно накинутый плащ — для удобства ехать верхом, рукава вывернуты, чтобы не болтались.

— Худой ваша шобака,— откровенно сказал Санчик и сплюнул.— Как можно швоих братьев боятьша? В парме ш такой пропадешь.

Ануфриев и Санчик добросовестно обили и выскоблили о бревешко ноги, повесили в сених плащи и тут же оставили ружья. Тихо (даже не скрипнула дверь) вошли в избу. Дружно посापывали ребята, разместившись кто на печи, кто на кроватях. В комнате настоялся запах разморенных теплом пихтовых веток. В углу на нарах соперничали в храпе Борковский и Патокин. Борковский спал смертельно, как могут спать люди, неделю не смыкавшие глаз.

— Что-то больно много вас тут,— удивился Ануфриев, окидывая взглядом спящих.— Ребятни-то откуда понабрали?

В это время Абросимович заворочался и вдруг вскочил. Бессмысленно вытаращил заспанные глаза на Ануфриева, понял, кто перед ним, и раскатился в восторгах.

— Яков Матвеевич, ты ли?! Здравствуй, дружище! Как ты скор на помине.

Они долго не расцепляли рук, сияли оба, как дети. Санчик переминался с ноги на ногу у порога.

Проснулся от шума Саша, а потом открыл глаза и Борис.

Яков Матвеевич повесил на гвоздь рысью безрукавку, пригладил ладонями редкие светлые волосы и грузно сел у стола. Санчик присел на табуретку возле печи, ноги поставил повыше, на перекладинку, руки вытянул на коленях. Руки жилистые, и не поймешь — то ли они смуглые, то ли давно не мытые. На Санчике старый, вытертый по обшлагам китель, с дырками на том месте, где привинчивают награды, и с бурыми пятнами давнишней крови на левом плече и на коротких рукавах.

— Ну как дошли-доехали?— начал Ануфриев, поигрывая веселыми глазами.

— Дойти-то дошли, телят всех пригнали, а вот как обратно пойдём — не знаем,— сказал Абросимович.— Неважно у нас, старина, с харчами. Сухари подмочили.

Борковский велел Саше растоплять еще не остывшую с вечера печь, а пока выложил перед гостями сухари и банку тушенки.

— Где нынче остановились?

— На Язьвинских, за Кваркушем.

— Много оленей пригнали?

— Триста голов. А нас трое. Макар третий. Пом-

нишь? Бородач такой. Вот он еще. Нынче по сотне на человека пасем.

Яков Матвеевич шепнул что-то Санчику, тот поднялся, развязал котомку и положил на стол четырех белокоричневых птиц.

— Куропаны. Э-эн, как токуют! Ребятам на супишко. Не думали, что вы уже здесь, больше бы настреляли. Поехали-то ненароком, олени отбились, поискать, да вот завернули.

— А я ведь собирался к вам, мяса просить,— сказал Серафим, ловко распечатывая ножом банку, зажатую меж колен.— Говорю, во сне с тобой торговался...

— Хы!— усмехнулся Ануфриев.— Зачем торговаться? В урмане зверья полно, стреляй знай, да ешь.

— Так оно, да видишь, пока не у шубы рукав. Пришли только.

— А что больно рано пришли?

— Снег стаял, чего ждать? Это вам оленей хоть зимой, хоть летом паси, а с телятами другое дело. Раньше угонишь — больше нагуляют.

— Верно,— кивнул Ануфриев.

Саша вытащил из печи ведро с горячим чаем, насыпал на стол кучку сахара. Борковский налил чай в кружки. Яков Матвеевич шумно прихлебывал чай, обхватив кружку ладонями, экономно, помаленьку откусывал сахар. Зубы его не отличишь от сахара, такие же белые, ровные. Санчик так и не подошел к столу, сидел у печи, прислонившись спиной к теплым кирпичам, неторопливо потягивал чай, слушал.

— Худо, говоришь, с харчами?— переспросил Яков Матвеевич.— Добывать надо мяса. Лося на примете близко нет — лицензия на него у меня в кармане, зато медведь есть. Можно добыть. Его все равно убирать надо, недалеко от нашего становища живет. Медведица,

при ней медвежата. Подрастут медвежата, она придет за оленями.

— Да как придет, уже приходил, это она оленей отбила,—неожиданно и азартно вмешался в разговор Санчик.—Ануфриев хоть и штарый, а шибко недогадливый....

Яков Матвеевич кашлянул в кружку.

— Верно, Санчик. До седых волос дожил Ануфриев, а ума не накопил... Давай, ты и стреляй, пособи ребятам.

— Ладна,—согласился Санчик.

На этом и порешили. Ануфриев останется искать потерянных оленей, Санчик поедет стрелять медведицу. Но кто-то должен ехать с ним. Серафим Амвросиевич изучающе, будто первый раз видел, посмотрел сначала на меня, потом медленно перевел взгляд на Патокина. И сказал твердо:

— Вы поедете. Смотрите в оба и без мяса не возвращайтесь...

Борис не вставал. Щеки его розовели румянцем, из груди вырывались частые шумные вздохи. С гостями никто не заметил, никто не подумал, почему он лежит.

Я склонился к нему.

— Ты что, старик, всерьез занедужил?

— Это тебе показалось,—прохрипел Борис.— Давай поезжай, да не забывай наказ. Ребята не должны голодать. Понял? Вот и все. Отваливай!

Не очень радовало такое напутствие. Я знал: Борис тяжело болен. Не помогла, видать, баня. Вспомнились его слова, сказанные еще в начале пути: «Ты пойдешь дальше, с Абросимовичем, с ребятами, а я останусь»... И потом, на Усть-Осиновке: «Я дойду до Кваркуша»... И вот — дошел. И слег.

Но раздумывать было некогда: Санчик встал, потянулся за котомкой.

— Крепись, дружба,— сказал я, хотя знал, что такие ободрения только бесят Бориса.

— Сам крепись! — взъелся он и оттолкнул меня горячей рукой.

Как ни урослив, как ни упрям был Петька, но я решил ехать на нем. Молодой конь выделялся отменной силой и выносливостью, а это главное. Александр Афанасьевич оседлал Машку, сел в прямом смысле на своего любимого конька. Длинношерстная, коротконогая Машка унаследовала от предков, шустрых, нестомчивых монгольских лошадок завидную резвость и неприхотливость. А путь нам предстоял не из легких, чуть не в тридцать километров, в непогоду, по вершине хребта.

Надо было спешить, и Санчик тоже поехал на лошади, на голенастом гнедом мерине, уже побывавшем на Кваркуше в прошлое лето. Пастух узнал эту быстроходную лошадь и попросил ее.

В последнюю минуту вышел на улицу Борис, содрал с моей головы кепку и напялил кожаную шапку. Это было единственное, что мы взяли из дому по совету Абрисовича из «теплых вещей». Уже дорогой я нашупал в кармане плаща детские вязаные варежки.

Сразу за «Командировкой» кони круто полезли в гору, глухо постукивая по камням подковами. Вокруг клубились тучи, и все та же невидимая глазом водяная пыль беспрерывно оседала на землю. Плащ быстро намокал, влажнели лицо и руки.

Где-то вверху гулял ветер, но здесь было тихо. Лишь иногда ветер свежей стремительной струей врзался в

кипень туч, рассеивал их, и тогда впереди призрачно проявлялся мшистый, усыпанный камнями подъем.

Стороной бежали все три наши собаки. Санчиковы Север и Соболь уже смирились с Шариком и терпели его. При малейшей стычке он падал наземь и с заискивающим повизгиванием раболепно вытягивался у их ног. Север и Соболь — родные братья. Они до того похожи друг на друга, что отличить их просто невозможно. Одетые в пышные шубы, блестяще-черные, с белыми манишками, подтянутые, бодрые, они неустанно рыскали в зарослях кустарников. Псы очень дружны, всегда вместе и на любую из двух кличек прибегают одновременно.

Чем выше мы поднимались, тем больше рассеивался туман, становилось светлее. И вот на какой-то высоте тучи расступились, и мы увидели чистое небо.

— Шкоро шолнышко будет! День будет! — воскликнул едущий впереди Санчик.

Проехали еще немного, и туман совсем поредел. Широко открылись окрестности. Зеленые, синие, а дальше голубые и уж совсем дымчатые горы гигантскими цветными дюнами уходили к горизонту и незаметно терялись, сливаясь с далью. Беспредельная ширь навевала чувство потерянности, оторванности от мира, мешала сосредоточиться, и я на какое-то время закрыл глаза. А когда открыл, увидел Кваркуш в новой, еще более прекрасной яви.

Ветерок затейливо играл тонкими стеблями полярной шучки, трепал мелкую белесую листву ползучих березок, упруго наваливался на заросли ивняков, прижимал их к земле. Под ногами плюшевым ковром расстилались мхи, пружиня, вскидывались кверху после удара копытом бархатистые темно-зеленые верески. Здешние высокогорные верески не такие, как в нашем равнинном лесу. Растут они большими семьями, малюсенькие, в два

вершка высотой, курчавые, ровные, будто подстриженные под бобрик, да такие густые, что не проткнешь палкой. Эти вересковые семейства разбросаны по плато там и тут и похожи издали на круглые коврики.

И цветы. Дивной многоцветной вязью переплели они поляны, обрамляя солнечные стороны камней, мелькали под кустами. Непривычно было видеть среди залежей вязкого мокрого снега вытаявшие полянки с буйно и торопливо цветущими гвоздиками, подснежниками, медуницами.

Над Кваркушем порхало, пело и ликовало разнородное птичье племя. Над полянами светлой тенью проплыл луговой лунь и смело сел на заглаженный когтями камень. Лунь не хотел пропускать нас дальше своего камня, взмахивал седыми крыльями и предупредительно щелкал клювом. Здесь он хозяин, это его владения. И когда лошади, упираясь и отворачиваясь, обошли камень, лунь долго протестующе смотрел нам вслед янтарно-желтыми немигающими глазами.

А обок, в зарослях тальника, играли брачные напевы разноцветные, как попугайчики, корошки, тонко и умиленно созывали подружек черноглавые славки, с тихим ласковым щебетом хлопотали у гнезд с самочками доверчивые краснозобые коньки. Перелетая с куста на куст с тревожным посвистом, нас долго провожал оранжево-красный щур, обеспокоенный появлением неожиданных пришельцев в его обжитом околотке. На Кваркуше еще не закончился дележ гнездовых угодий. Каждый маленький и большой пернатый житель этой обетованной земли охранял от вторжения уже захваченный участок.

Из-под ног лошадей лениво взлетали длиноклювые жирные дупели и, отлетев десяток-другой метров, точно подстреленные, отвесно падали на ржавые мочажьи

ны. На каменистых взгорках дрались, кричали и порхали токующие куропатки.

Редкое зрелище мы увидели с гребня Кваркуша. Над головой — чистоструйная ясность неба, а под нами, обволакивая горы, стлались космы туч. В «Командировке» моросил дождь. Странно было сознавать, что мы ушли от туч, забрались выше их. Это на лошадях-то! И только на востоке из туч в синеву неба пилами вздымались очертания каких-то еще более высоких гор.

— Тама Большой Кваркуш,— заметил Санчик, вытянув руку в сторону вершин.— А вона Вогульская шопка. Тама много рогов, костей. Вогулы оленей приводили богу...

— И ты водил?— спросил Саша.

Санчик, многозначительно промолчал.

Пастух радовался свежему ветру, голосам птиц, яркому солнцу. Он свободно откинулся в седле и тянул какую-то песенку. Сегодня ему вдвойне приятно видеть родное приволье, Санчику поручили дело, он едет выполнять его.

Александр Афанасьевич нагнул и сломил ивовый побег. Санчик заметил это, резко остановил коня.

— Пошто так делаешь?— строго спросил он.

— Что? — не понял Саша.

— Пошто губишь ветку?

— Так это же погонять лошадей!

— Веревка есть, ремень есть — погоняй. Ветку кушать не будешь, на костер не положишь. Пошто шломал? Тут бы птичка сел, мурашик забрался. А вырастет ветка — зацветет, шемячко обронит — куст вырастет. А ты шломал...— И Санчик, к слову, рассказал несколько тяжелых примеров, когда приезжие люди — геологи, туристы, геодезисты — совсем ни к чему, ради какого-то непонят-

ного ему интереса, без надобности губили лес, убивали животных.

— Шибко нехорошие люди есть, — заключил Санчик, качая головой. — На что рошوماха — воровка, жадюга, хитрая, как шайтан, и та, когда брюхо шитое, ни на кого не нападает...

— Правильно ты говоришь, — согласился Саша и виновато добавил: — А я ведь так, без умысла, потребовалось — и сломил. Не подумал.

Пастух проехал немного молча и опять напустился на учителя:

— Пошто шломал ветку? Ты ш ребятами пришел, учишь их, умный, штало быть, а говоришь «не подумал». Как можно умному не думать? Только дурак не думает.

— Санчик, честное слово, больше не буду! — взмолился Александр Афанасьевич. — Просто машинально получилось.

— Ладна. Тогда шкажи: пошто ходят шуда туристы? Ну эти, в башмаках резиновых, в майках ш колпаками? Застывают здесь... Не знают, что ли, Кваркуш?

— Знают, поэтому и идут.

— Так пошто идут, если нет дела? Вот вы пришли — у вас дело, телят пригнали, придут пастухи — тоже дело, пасти будут, мы едем за мяшом — опять дело. Пошто туристы приходят?

Саша замялся, подбирая ответ.

— Как тебе объяснить? Ну интересно посмотреть на горы, на реки, на Кваркуш... В общем, интересно это им.

— И замерзать тоже интересно? Пошто молчишь? Говори.

Не понял Санчик. Не понял, для чего идут в тайгу люди, если нет никакого дела. Не понял и того, как можно идти в большую дорогу, не зная ее, неподготов-

ленным, неприспособленным. И он умолк, перестал петь, крупной рысью погнал лошадь, мучаясь в догадках, зачем идут в тайгу люди без дела?

И тут мне вспомнился разговор с Абросимовичем. Борковский рассказывал, что он много раз поворачивал обратно в Красновишерск и Соликамск туристов, заходивших к нему за советом, как пройти через Кваркуш на Ивдель. Заманчивая эта штука, так запросто перемахнуть из Европы в Азию, да еще через Кваркуш. В кедах, в легких спортивных костюмах, с тощенькими рюкзаками, без оружия, без проводников, они отправлялись в это далекое и опасное путешествие. Бывало, и уходили такие одержимые горе-туристы, и через неделю возвращались— босые, раздетые, голодные. И тогда в поселке все радовались, что вернулись люди целы и невредимы.

Но, бывало, и не возвращались...

Прав Санчик, нечего делать таким туристам на Кваркуше. Он-то хорошо знает его.

Скоро и я перестал глазеть по сторонам: с каждым километром все больше давала знать непривычная езда в седле. Куда ни шло еще, если Петька не спешил. Тогда я мог попеременно вынимать из высоко подтянутых стремян ноги, вытягивать их и болтать ими, откидываться в седле и распрямлять затекшую спину. Но как только он брал рысью,— а это он делал без понуканий, повторяя ход лошади Санчика,— я не знал за что держаться. Меня бросало и било, я хватался за гриву, съезжал то на одну, то на другую сторону седла. Иногда конь Санчика находил нужным пройтись по чистому месту галопом. Немедленно переходил на галоп и Петька. А тут я и вовсе не ездок. Растрясло меня, укачало.

По установившемуся распорядку Саша Патокин ехал на своей маленькой мохноногой Машке сзади. Чтобы

поспеть за нашими рысаками, ей без отдыха приходилось бежать. Я мысленно жалел Сашу, хотя по всему было видно, что он не очень-то страдает. Помогая лошади, Саша проворно отталкивался ногами.

Где-то на полпути к становищу пастухов въехали в болото. Кони тяжело грузли в коричневой, подернутой плесенью жижице. Мы спешили, повели их за поводья.

— Здесь Шепел начинается. Речка такая,— пояснил Санчик.— Тама начинается,— и он указал на овраг, густо заросший вербняком.

В глубокой впадине из-под камней бил мощный родник. Из недр будто насосом выплескивало сразу по нескольку ведер воды. Родившийся ручей питали и снежники, ветвистыми языками отовсюду тянувшиеся к оврагу.

— И Язьву увидим,— пообещал Санчик.— Две Язьвы увидим...

Незаметно перевалили водораздел Кваркуша и снова стали снижаться. Скоро должны начаться Язьвинские поляны. И опять снизу потянуло туманом и сыростью.

— Далеко ли еще ехать?

— Хы, где далеко! Всего пять километров,— ответил Санчик.

Я уже знал сказку про пять километров и понял его как следовало: где пять, там десять. И не ошибся. Долго еще ехали, пока, наконец, не показалась первая альпийская поляна с высокой сочной травой. На ней густым белым облаком лежал туман. Облако затянуло окружающий поляну лес, скрыло небо, солнце.

По широкой морене, минуя громадные камни, спустились к другому ручью.

— Язьва,— сказал Санчик.— Дальше еще раз Язьва будет. Шеверная и полуденная Язьва. А потом они вместе побегут.

Малы, неузнаваемы были эти две Язьвы в истоках. Течь им надо да течь по горным долинам, чтобы набраться сил, вырасти в ту полноводную Язьву, которую мы видели внизу.

Мы немного не доехали до домика пастухов, уже видели его на склоне горы, когда в стороне раздался яростный лай отбившихся собак.

Санчика, как ветром, снесло с лошади.

— Оша оштановили,— сказал он, прислушиваясь к лаю.— Ешли Шарик прибежит — точно оша.

Едва он это договорил, как из кустов и вправду вылетел взъерошенный Шарик. Вид у него был жалкий: хвост поджат, задние лапы полусогнуты, виноватые глаза просили защиты. С перепугу Шарик не мог стоять на месте и, оставляя за собой мокрую дорожку, трусливой рысцой перебегал от лошади к лошади.

— Что с ним?— спросил Саша.

— Голова у тебя ешь? Пошто не думает?..— с сердцем ответил Санчик и смачно плюнул на собаку.— Фу, шайтан проклятый, бросил братьев, удрал...

Санчик обмотнул конец повода за сучок березки.

— Выручать шобак нада. Шибко быштро ходить нада,— торопливо сказал он и одним ловким движением снял закинутую за спину двустволку. Эту двустволку с витым березовым ложем дал ему Ануфриев, Санчик приехал в «Командировку» с мелкокалиберкой. Уже на ходу Санчик вставил в стволы патроны и переложил из упрятанных под кителем ножен в карман плаща нож, лезвием кверху.

Всего на минуту он опередил меня, но догнать его так и не мог. Санчик в густом лесу — что шука в водорослях. Там, где я, наделав шуму, запутываюсь и беспомощно повисаю на кустах, он проскальзывает бес-

препятственно и бесшумно, будто разлапистые ветви расступаются перед ним сами.

Остервенелый лай то приближался, то отдалялся. Сначала казалось, что зверь не сидит на месте, бегают, увлекая за собой собак. Но потом я понял: путал меня ветер. Сделал несколько коротких перебежек, и вот заливистый лай, злобное урчание, треск кустов послышались где-то совсем рядом. Остановился на краю еланки, убрал от глаз ветку и увидел Севера и Соболя. Встопорщенные, гривастые, они дружно осаждали невысокую развесистую ель.

«Где же Санчик, неужто он проскочил дальше?» — быстро соображал и я чувствовал, как меж лопаток пробегает неприятный холодок.

Но в эту секунду с противоположной стороны поляны сухо щелкнул выстрел, между веток вырвался голубой клочок порохового дыма, и из-под ели большим темным клубком выкатился медведь с рыжими подпалами на лапах. Собаки отпрянули, но тут же вновь надели на зверя. Медведь, изрыгая утробное рывкание, легко перекачивался по еланке, проворно отбивался от собак. Иногда он так сильно и нерасчетливо махал лапой, что перевортывался на спину. Так и оборонялся от собак, лежа на спине, каруселью работая всеми четырьмя лапами.

Север и Соболь зашлись в неумной ярости. Они уже не лаяли, а, задыхаясь и кашляя, хрипло выли. Трудно было сейчас поверить, что эти бестии умеют так мирно жмуриться на огонь в теплом углу у печки. Они колесом вертелись вокруг зверя, набивали белозубые пасти его вонючей шерстью и от этого бесились еще сильнее. Стрелять было нельзя.

Но кто там еще? Вершина ели затряслась, закачалась крона, и... по стволу на землю съехали два медве-

жонка. Собаки отскочили от ревушей медведицы и, кажется, растерялись.

Раздался второй, третий выстрел. Медведица тяжело всколыхнулась и легла. Но какая-то сила вновь подняла ее. Оглушительно рывкнув, так, что на секунду все вокруг замерло, медведица бросилась на Санчика, уже не обращая внимания ни на собак, волочившихся за ее задом, ни на скуливших, бегающих вокруг поляны медвежат. И свалилась в трех шагах от него с простреленным черепом.

Так я и не выстрелил. Во мне гудела каждая жилка, руки постыдно тряслись. Я готов был провалиться сквозь землю, только бы не слышать упреков Санчика.

А он вышел из зарослей, ткнул стволами бездыханную тушу и сел на нее. Как ни в чем не бывало позвал меня:

— Иди шуда. Готова...

И столько было в его голосе спокойствия, обыкновенной простоты, как будто стрелял он не медведицу, а зайца и сейчас просто рад удаче.

Я подошел с опущенной головой.

— Хорошо, шибко хорошо ты делал, что не штрелял,— вдруг похвалил Санчик.— Шобак беречь нада. Вона они какие...— С этими словами глаза его ласково сузились, голос обмяк.— Хорошие, работающие. Не то что дурак Шарик...

С трудом пересилив волнение, я посмотрел на Санчика и сказал:

— Прости меня, Санчик... Ты стоял напротив, я боялся стрелять. И собаки...

— Пошто прости? Ты ладна делал. Ош туда, шуда металша, нада шибко хорошо шмотреть. Ты не умеешь так. Я умею...

Глаза его сузились еще больше, в них мелькнула лукавая искорка.

— А ты боялша? Говори? Боишша — траву кушай, как шохатый, не проси мяша. А не боялша — мяшо будешь кушать...

С убитым зверем мы провозились до вечера. Освеживали, разделали. Чтобы мясо не испортилось, оттащили тушу с крови и перекинули через поваленную березу. Почистили одежду, вымыли руки. И тут, когда все было покончено, я вдруг почувствовал смертельную усталость и голод. Ныло разбитое от непривычной езды в седле тело, трудно было даже сидеть. Я растянулся на траве.

— Давай, Санчик, отдохнем.

— Можно. Как нельзя? Теперь пировать можно.

Санчик порылся в котомке, вытащил две черствые лепешки, кусок вареного мяса. Разрезал мясо, положил все на котомку.

— Ешь.

Я смотрел на поляну, где еще пару часов назад мирно жила медвежья семья. И вот густая трава на поляне смята, окровавлена, кусты обломаны, кругом валяются клочья шерсти. Что-то жестокое, несправедливое было в этой первобытной охоте. Сосало под ложечкой, жалко было загубленного могучего зверя, оставшихся медвежат. Но этим гнетущим мыслям в противовес вставляли слова Борковского: «Все будем есть — лук, щавель, пучки»... И напутственное: «Без мяса не возвращайтесь»...

Незримо появился рядом Борис, мой верный друг, человек с сильным духом и никудышным здоровьем. Сидеть бы ему в рабочем кабинете, а он пошел. Знал, что будет трудно, но пошел. Чтобы рассказать потом, почему достается колхозникам «фунт мяса».

Вспомнились и ребята... Нет, мы должны были убить медведицу.

Раздумья мои прервал Санчик.

— Однако завтра худой день будет. Дождь, ветер будет.

— С чего ты взял?

— Глаза у тебя есть? Шмотреть нада. Где ворона каркает?

— На дереве.

— Хы, на дереве! Вижу, что на дереве. Где сидит, спрашиваю?

— В ветках.

— То-то. Иначе воровка сидел бы на самой верхушке...

Пока разделявали тушу, медвежата таились где-то поблизости, изредка давая о себе знать тонким жалобным поуркиванием. Мы держали разгоряченных собак на привязи. Перед тем, как идти, спустили. Обгоняя друг друга, они скрылись в чаще и вскоре снова подняли оголтелый лай.

Спасаясь от собак, медвежата вскарабкались на осину, припали к стволу. Но все же одного, что сидел пониже, собаки успели сильно потрепать. Он едва держался на дереве и громко ревел. Зверята оказали яростное сопротивление и нам. Кое-как, отталкивая собак, мы сняли их и затолкали в мешок. Так, в мешке, орущих, бьющихся и принесли к избушке пастухов, где нас заждался обеспокоенный Александр Афанасьевич.

Вместе с ним вышел навстречу богатырского телосложения дед, с темно-красной курчавой бородой до ремня, с длинными клешнястыми руками. Это был дед Макар, третий пастух-оленьевод.



„Без мяса
не возвращай-
тесь“

Не ошибся Санчик. И ворона не обманула. Ночью над Кваркушем разгулялась непогода. Ураганый ветер нес с хребта тучи песка и снега. Охали, гудели горы, трещали падающие деревья. Дед Макар несколько раз выходил на улицу и возвращался с мокрой бородой.

— Ну, и крутит, шайтан его взял. Стужа, спасу нет! — Пастух качал кудлатой головой, садился за стол из необтесанных жердочек, подпирал заросшие щеки толстыми кулаками. — Не уехать вам утре, застынете на Кваркуше...

Было уже за полночь, а никто не спал. В железной трубе на все голоса пел ветер, раздувал угли, выбрасывал из каменки искры. Избушка быстро выстывала, и Санчик то и дело подкладывал в печку дрова.

— Сходить, однако, к оленям, кабы не разбежались, — опять забеспокоился дед. Пошел и я посмотреть оставленных на привязи лошадей.

Ветер с упругой силой нажимал на дверь, не давал открыть. Белые снежные стрелы наискось резали темноту. Сразу за избушкой ветер подхватил полы плаща, захлопал ими, как крыльями, потянул в сторону.

Кони стояли на маленькой поляне, как в бухте. Три ее стороны полукольцом замыкал частый ельник. Ветер здесь дул слабее, зато намело сугробы снега. Лошади, спутав арканы, сошлись вместе, понуро опустили головы, месили ногами желтый утопанный снег. Крупы, гривы, хвосты их покрылись льдом и сосульками.

Я хотел распутать арканы, но вдруг захрапел, заходил ходуном Петька. Еле-еле развел других лошадей и ушел в избушку озадаченный: чем же я сегодня не понравился привередливому Петьке?

Санчик поставил на плиту котел с остывшим медвежьим супом.

— Погоды нет — мяшо ешть, много мяша. Жить можно!

Вечером мы ели этот суп. Приторно жирный, без картошки. И чем-то пахло от него.

Дедка Макар все еще не вернулся от оленей. Александр Афанасьевич уснул.

Мы сидели с Санчиком.

— Вогулы не едят картошку, — сказал Санчик. — Белая, как шало, а не жирная. И я не ем.

— Ты не похож на вогула.

— Как не похож? Пошто так говоришь?

— Ну, все равно не вогул, манси сейчас называют.

— Пошто манси? Мать у меня была манси, а я вогул...

— А Яков Матвеевич русский?

— Ага, только зырянин... И дедка Макар зырянин. Раньше здесь одни вогулы жили, и наш вогулами зовут. — Санчик открыл щепой дверцу каменки, загораживаясь рукой от вылетающих искр, подбросил дров и утвердительно добавил: — В тайге одни вогулы живут, а рушкие — в городе.

— Бывал в городе-то?

— Как не бывать, бывал. В Някшимволе. В гошти к дедушке ездил.

Няксимволь... Где же такой город? И вспомнил: сотрудничая в одном журнале, я однажды бывал в командировке в отдаленном таежном поселке, в двухстах километрах на север от Ивделя, на берегу Северной Сосьвы. Это и был Няксимволь.

— Далеко ведь до Няксимволя.

— Не-е. Шешшот километров,— без тени улыбки ответил Санчик.— На оленях быштро...

Суп я не стал есть и попытался заснуть. Но долго еще лежал и думал об этих удивительных людях, умеющих делать красивой и полной жизнь там, где она порой кажется невозможной.

Не обрадовало хорошей погодой и утро. Ветер дул с прежней силой, только теперь вместо снега нес ледяную крупу. Она со звоном ударялась о железную трубу, частой дробью колотила по обледенелой крыше. Весь день мы томились в избушке.

Лишь к вечеру поредели немного тучи, и приутих ветер. Застрекотали дрозды, собирая по лесным опушкам растерянных птенцов. Ожили, загалдели вороны. Скопища их тянули через избушку к дальним полям у истоков Язвы.

Санчик пришел с улицы и сказал:

— Воровки нашли медведя. Надо мяшо нешти. Утром поедем в «Командировку».

Мы захватили мешки, заткнули за ремни топоры и отправились за мясом. По пути зашли перевязать на новое место лошадей. Петька опять забузил, опять зафыркал и забегал, но все же дал распутать аркан и поправить узду.

— У-ух, нехороший жеребец! — неодобрительно по-

качал головой Санчик.— Шибко дурной, оша боитша; вше равно что бурундук лишы.

Так вот, оказывается, в чем дело, вот почему бесится Петька: от меня пахнет медведем.

По сплошному лесу Санчик, угадывая направление по признакам, известным ему одному, безошибочно вывел на поляну. Ободранная туша медведицы все так же висела, перекинута через поваленную березу. Неприятное это зрелище — большой ободранный зверь. Посиневшее, заклеванное воронами мясо вызывало отвращение. Но сейчас не до брезгливости. Надо поскорей везти мясо в «Командировку». Там давно ждут нас и ждут только с мясом.

Мы разрубили тушу на небольшие куски и в мешках унесли их к речке. По берегам ее лежал нестаявший снег, в ледяной воде сводило руки. Промывали мясо, очищали от травы, песка, отделяли от крупных костей, подсаливали и укладывали обратно в прополосканные мешки.

Еще издали, учуяв медвежье мясо, заволновался Петька. Гнедой мерин Санчика и мохноногая Машка держались спокойнее, но, глядя на фыркающего бьющего копытами Петьку, насторожились и они.

— Худо дело, плохой у тебя конь,— снова заметил Санчик.— Шибко бить нада, тогда повезешь на нем медведя.

— Зачем бить!? — взмолился я.

— Тогда поежкой пуштой,— невозмутимо ответил Санчик, подбросил повыше на спину мешок и зашагал к домику в обход, с подветренной стороны.

Весь вечер я думал, как буду бить Петьку, чтобы сделать его покорным. Готовил себя к этому, припоминал все худое, все Петькины уросы, но обозлиться на

него так и не мог. А Санчик словно угадывал мои невольные размышления и безжалостно твердил:

— Ты поедешь на нем, тебе и лупить нада. Шибко лупить, чтоб он от крика твоего падал... Жалеть будешь — шшибет на Кваркуше, башку проломит копытом...

Свечка кончалась. Растопленный парафин медленно растекался по дну стакана. Санчик ссучил на черных шершавых ладонях нитку, соскреб кончиком ножа парафин, принялся лепить новую свечку. За окном буянил ветер, по мутному стеклу расплывались волнистые потоки дождя. Дождевая вода проступала на стыках между бревен, мох сделался влажным, стены отпотели. Под ногами скулил искусанный собаками медвежонок, другой сидел в углу на куче щепок и недружелюбно наблюдал за Санчиком маленькими злыми глазками. Я натянул на плечо оленью шкуру и с тяжелым настроением забылся.

Утром раньше всех встал Санчик, пошел и вывалял на медвежьей шкуре наши плащи. Шкура лежала растянутой на камнях мездрой кверху вдали от избушки. Мы ее там оставили ночью, чтобы до поры не тревожить лошадей.

— Зачем ты это сделал? — спросил Саша.

— Как зачем? Голова у тебя ешь? Пошто не думает? Штоб шибче пахло. Щечаш пойдем лошадей учить...

Кони сразу почуяли наше приближение, вскинули головы и замерли в тревожном ожидании. Запах зверя, который издревле повергает домашних и диких животных в смятение, запах, страх к которому они хранят от рождения, надвигался на них сейчас вместе с нами. Ко-

ни шарахнулись в стороны и натянули арканы. Я проверил, крепко ли держится вбитый в землю кол с коновязью, отрезал метровый конец мокрой веревки. Надеюсь еще добром сладить с Петькой, попытался приблизиться к нему, но одичавший от слепого страха молодой конь вознесся на дыбы, круто повернулся и, мотая головой, понесся по кругу. Мне подсекло арканом ноги, и я тут же свалился.

Не стану описывать всего того, что было дальше. Но бил я коня страшно — по шее, по ушам, по спине до тех пор, пока он не стал падать на колени от моего крика... Оба взмыленные, измученные, мы стояли друг против друга, как лютые недруги. От усталости и нервного напряжения у меня тряслись руки, у Петьки вздрагивали мясистые губы, обрамленные красной пеной.

Он покорно пустил меня на свою спину и, чутко слушаясь повода, пошел к избушке. Так же покорно дал надеть седло и перекинуть через него связанные мешки с мясом.

Очень хотелось привезти ребятам медвежонка. Но Санчик запротестовал:

— Не-е! Он не будет шпокойно ехать, будет кричать в мешке. Лошади шбросят наш, убегут на Кваркуш, потеряют мяшо. Не-е!

Провожал нас дедка Макар. По-хозяйски осмотрел уздечки, подпруги, седла, попробовал, не туго ли где, не слабо ли, потрепал по шее смиренную Сашину кобылку. И сказал:

— На гребень-то не выезжайте. Долом надежнее.

Жаль было оставлять старика одного, но время не ждало. Простились мы как давние знакомые. Макар, как помор, в распахнутом плаще, в высоких сапогах, здоровенный и красивый, одиноко стоял у избушки и

махал нам вслед шапкой. Ветер разметал его густые длинные волосы, прижимал, разглаживал на широкой груди каштановую бороду.

— Корми медвежа-ат! — оборотясь в седле, крикнул Санчик. Дед прокричал что-то в ответ, но ветер отнес его слова.

Только миновали лес и выехали на Кваркуш, нас подхватил будто поджидавший сильный ветер, дувший с гребня. Вместе с пролетающими снежинками он нес песок, мелкие камешки. Они больно секли лицо. Ветер развевал гривы коней, сталкивал их с тропинки. Тут-то я вспомнил про варежки, предусмотрительно положенные кем-то в карман. Вспомнил не только про эти варежки — и про те, о которых в свое время подсказывал Борковский.

Петька пока шел спокойно, лишь изредка тревожно прядая ушами и кося глаз на провисшие мешки. Его отвлекала борьба с ветром. Но вот мясо в мешках просело, и по бокам лошади потекла сукровица. Учуяв и ощутив ее, Петька задурил. Сначала бочком, бочком, назад и опять бочком гарцевал он на месте, потом один за другим сделал несколько замысловатых пируэтов на задних ногах. Мое неумелое, может быть, неуместное понукание подлило масла в огонь. Закусив удила, Петька понес в сторону, ошалело прыгая через камни. Не хватало сил повернуть его, я ногой натянул повод. И это не помогало. Петька, храпя, дугой выгнув шею, летел к гребню, высекая подковами из камней искры. Я потерял из виду Санчика и Сашу.

«Хоть бы выдохся, хоть бы упая!» — молил я, крепко вцепившись в облучок седла. И уже не пытался повернуть Петьку — зубы у него, как тиски, в них хватит силы удержать закусенный трензель.

Бешеная скачка продолжалась, наверно, не больше

десяти минут, но меня так растрясло, что я едва держался в седле. «Остановить, во что бы то ни стало остановить!» Но роковой случай опередил: из-под самых ног лошади выскочил линиялый песец. Петька сделал неожиданный, невероятной силы скачок в сторону и выбил меня из седла. Дальше все происходило, как в калейдоскопе. Почувствовал — лопнул ремень, покатило по камням ружье. Я тащился вниз головой за лошадью, в бок резко и упруго било — это лошадь стучала бедром — и никак не мог высвободить застрявшую в стремени ногу. Плащ вывернулся и вытянулся, рюкзак повис на руках. Тук-тук — отдавалось в голове, но мягко, не больно — спасала шапка да рюкзак с плащом. Наконец удалось выдернуть из сапога ногу, и я кулем свалился среди камней. Почти в тот же момент сгрохал седлом перевернувшийся через голову Петька.

Я сразу догадался, что произошло, увидев на шее у Петьки обрывок веревки — распустился аркан, конь наступил на него. Петька быстро вскочил и, трепеща всем телом, с разметанной гривой, с широко раздутыми ноздрями, полуприсев на задних ногах, замер, готовый птицей взвиться над Кваркушем!

— Ле-жаты! — дико закричал я и не узнал своего голоса. Много, видно, повелевающей силы прозвучало в этом смятенном крике, если совсем спятивший конь вдруг весь обмяк и медленно, как бы со вздохом, рухнул на бок.

Я выпутался из плаща, сорвал с ноги раскрутившуюся портянку, подбежал и схватил аркан. Потом тихо подошел к коню и накрепко связал концы. Но Петька не думал сдаваться, опять забунтовал, взмыл и понесся под гору, до жжения в ладонях выбирая из рук мокрую веревку. В миг я сообразил, что веревку удержать не хватит силы и два раза повернулся на месте,

опоясывая себя. Тотчас последовал резкий мощный ры-вок, Петька снова перевернулся, а я... очутился возле него.

— Лежа-а-аты! — заревел я, зверем кидаясь ему на шею...

...Полежали, отдышались. И я, и Петька. Я чувствовал, как реже и спокойнее становились вздохи коня, как остывало и судорожно вздрагивало его тело. Осторожно осмотрелся. Седло разбито, висит на брюхе лошади. Мешки с мясом в стороне. Недалеко от мешков темнеет на камнях сброшенный плащ, рюкзак, вероятно, под ним. А вот где сапог и ружье — не видно.

Ну и черт с ним, с этим сапогом и с ружьем тоже. Лишь бы мясо не потерять. Расслабил, а потом совсем разжал руки, отпустил Петькину шею. Он недоверчиво прижал ухо, скосил налитый кровью глаз.

— Дурень ты дикошарый, — с укором сказал я. — Сам измучился, меня измучил. Давай поедem потихоньку.

Я разговаривал с Петькой, а сам незаметно поправил на нем сбившуюся узду, еще раз затянул узел на аркане. Ослабил подпруги и запрокинул на спину разбитое седло. Заарканил другим концом веревки и себя. Так, на всякий случай. Немыслимо было оставаться на Кваркуше без коня. Одному в тумане не найти дорогу. Не забыл я и наказ Борковского: «Без мяса не возвращайтесь». Это главное.

Где же мои спутники? Ждут, ищут меня или не смогли остановить своих лошадей, и они унесли их домой? Ничего, доберусь и я.

Болело ушибленное плечо, и я еле перевалил через седло тяжелый выюк. Отыскал сапог и ружье. На левом стволе ружья темнела глубокая вмятина.

Надо было пустить коня, чтобы он шел сам, искал

дорогу, и мне волей-неволей пришлось лезть на него. А ехать верхом ох как не хотелось! Пропади пропадом эта «кавалерия»! Никогда я раньше не ездил на лошади, а теперь и вовсе отбило охоту.

Подвел Петьку к камню, с трудом взгромоздился в седло. Петька с места рванул в карьер. Пальцы накрепко обхватили железный облучок седла, и, казалось, скорее оборвут его, чем отпустят. Ехал в каком-то полужабыти, спустив повод, полностью доверившись лошади. Может быть, час ехал, может быть, больше. Из оцепенения вывело визгливое ржание Петьки. Окинул взглядом плато и увидел бегущих кромкой горбатого снежника трех собак. А за ними вынырнули из лощины два всадника. Собаки и всадники мчались во весь опор мне навстречу.



Юрке
делают
операцию

Я так умаялся за эту дорогу, что слез с лошади и упал. Потерял чувствительность, одрябли ноги, тело было, как ватное. Не лучше выглядел и Патокин. Он не слез с лошади, просто встал на камни и пропустил ее вперед, как в калитку. Потом Патокин пошел

к дому, неестественно широко ступая, с раскинутыми руками, точно под ним была не земля, а корабельная палуба в хороший шторм.

Лишь Санчик чувствовал себя хорошо. Он легко прыгнул со своего гнедого мерина, вытер о плащ руки и поздоровался сперва с Борковским, затем с Борисом, с Ануфриевым:

— Привезли оша, бо-ольшого оша привезли!

Мы с Сашей отказались от крупяной похлебки, до зеленого зелья заправленной диким луком, прошли, как на протезах, к нарам и, не раздеваясь, упали на них. Еще недолго я слышал оживленные голоса, потом все отодвинулось куда-то за глухую непроницаемую стену.

А между тем, после строгих ограничений, после пайка «Командировка» готовилась праздновать «день сытых». Во всех ведрах варился медвежий суп. У дома, на костре, ребята жарили на вертеле шашлык из грудинки.

Ночью меня разбудил Борис. В жаркой избе стоял сытный запах мясного супа. Дремал, привалившись спиной к печи, объевшийся Филоненко-Сачковский. Он так и сидел с ложкой в руке. Потное розовое лицо его выражало довольство. Сквозь дрему Сашка благобно улыбался и умиротворенно посвистывал носом.

Спали и остальные ребята, вповалку, на печи, на нарах, на кроватях, где застиг неодолимый сон.

— Поешь,— сказал Борис.— Вот тебе самый жирный, самый большой кусок.

Я похлебал немного с сухарями наваристого бульона и взялся за мясо. Опять чем-то отдавало мясо, а чем, понять не мог. Так и не осилив куска, положил его на подоконник и снова свалился на нары.

Но заснуть больше не мог. Саднило ушибленное плечо, не давали притронуться отбитые ягодичы. Встал,

походил по скрипучим половицам. Достал блокнот, хотел пописать — не получалось. Взял с подоконника оставшее мясо, вышел на крыльцо. На улице было одинаково серо, как вечером, как ночью, но летали птицы. Значит, ночь кончилась, наступило утро.

Откуда-то вылез Шарик, опустив хвост, несмело подковылял к крыльцу. Присел у нижней приступки и вожаденно стал наблюдать, как я отдираю зубами от кости мясо. Длинная тягучая слюна спускалась с его подрагивающей губы. В просящих глазах явно читалось: «дай поглосу, ты уже, наверно, сыт...». И тут у меня что-то остановилось поперек горла, я разом почувствовал отвращение к мясу. Вспомнил: оно пахло запущенной медвежьей клеткой, так обычно пахнет в зоопарке. Вспомнил и синюю, заклеванную воронами тушу.

Бросил наполовину обглоданную кость Шарик под ноги. Он спокойно обнюхал ее, шевельнул лапой, еще понюхал и... пошел прочь. Почему голодный пес отказался от мяса — не знаю. Но и я больше не ел его.

Вернулся в дом, лег и вдруг услышал тихий стон. Стон, заглушаемый храпом спящих, доносился из-за печи. Поднялся, прошел в кухню. В углу, поджав ноги и горемычно склонив рыжую голову, сидел Юрка Бондаренко. Он медленно раскачивался, перехватив ниже кисти левую руку.

— Ты почему не спишь?

— Палец болит, — пожаловался Юрка.

Я посмотрел на его руку и ужаснулся: большой палец так нарвал, что походил на желтое недозревшее яблоко.

— Что сделал?

— Еще дорогой... когда сюда шли. Упал, ноготь оборвал.

Ах вон где! Это в тот самый раз, перед «Команди-

ровкой», когда я наткнулся на него в кустах, перевязывающего руку мокрой тряпичей.

— Почему раньше не сказал о нарыве?

— Думал, пройдет...

Пришлось будить Борковского. Он долго тревожно рассматривал Юркин палец и неодобрительно качал головой.

— Ну как же так? Зачем ты молчал? Вот сейчас палец отрезать придется.

— Ну, и отрезайте,— угрюмо согласился Юрка.

Серафим растворил в теплой воде порошок марганца, поставил котелок перед Юркой.

— Суй руку и распаривай. Утром «коровьим» инструментом будем операцию делать.

Юрка опустил в котелок с марганцовкой распухшую руку, навалился плечом на косяк окна. Теплая вода принесла облегчение, и через минуту он уснул. Я осторожно положил Юрку на кровать. Большую руку его свесил в котелок. Сам сел рядом.

Борковский достал из рюкзака брезентовую сумку с «коровьим» инструментом. В наборе ветеринарных хирургических принадлежностей был огромный шприц, ножницы, похожий на тесак скальпель. Отдельно в аптечке хранились бинты, вата, йод, флакон спирта.

Уже все было готово к операции, но Борковский медлил. Подошел к кровати, постоял над Юркой и бесшумно отошел.

— Пусть отдохнет парнишка.

Проснулся Юрка вместе с ребятами. Глянул на побелевший, уродливо оттопыренный палец и смело предположил:

— Режьте!

Серафиму вымыли руку, он сел на скамейку у стола, позвал Юрку.

— Чтобы не пищать! Маленько больно будет.

Юрка согласно качнул пушистыми ресницами, обреченно положил больную руку на стол. Борис прижал ее грудью.

Пока Серафим вскрывал нарыв, Юрка молчал, шумно и часто вбирая носом воздух. Но когда начал выдавливать гной, побледнел и ни с того, ни с сего закричал ребятам, игравшим на кровати в шашки:

— Смотрите, Филоненко-Сачковский халтурит! Так не ходят!

Казалось, резали не Юркин палец, резали стол. Он не сморщился, не дернулся. А когда Серафим стал заталкивать в больную рану проспиртованный марлевый тампон, на лбу Юрки крупными каплями выступил пот.

— Молодец, Юрка, крепкий ты парень! — похвалил Борковский, срезая концы узла на повязке. И это была его первая похвала. Юрка удивленно осмотрел забинтованный палец и радостно воскликнул:

— Не отрезали?! Законно получилось!

Днем снова варили медвежье мясо, снова жарили шашлыки. Ели без норм, без ограничений — кто сколько захочет и когда захочет.

Ребята сами придумывали себе работу. За телятами бегать теперь не надо — на вольных выпасах они ходят спокойно, никуда не удирают. Да и пасли их поочередно, группами в три-четыре человека, не больше часа каждая.

Гена Второй на все руки мастер. Умеючи варил каши, быстрее других разжигал из сырых дров костер, а сейчас взялся клеивать сапоги. Нужная это была работа, прямо необходимая, а у нас до нее пока не доходили руки. Он нашел в чулане еще один старый ре-

зиновый сапог, отрезал от него голенище. Потом отыскал пустую консервную банку, выпукло выгнул донышко и гвоздем мелко набил в нем изнутри дырочек. Получился рашпиль для шероховки резины. Самые изорванные сапоги оказались у Витьки Шатрова. С них Гена и начал. Выкроил заплатки, зачистил и помазал клеем края дыр. Витька сидел тут же, на лавке, босой, но в шапке и телогрейке, смотрел на Генкину работу, помогал, чем мог. А у бесхитростного Гены секретов нет, все на виду, и он охотно объясняет:

— Когда намажешь заплатку клеем — подсуши, потом еще помажь, да не густо — и опять суши. Когда резина свернется в трубочку, будет к пальцу льнуть — приклеивай.

Заклеили Витькины сапоги, принялись за Юркины. Зудели без работы руки и у Володи Бурбона. Утром, не зная чем заняться, он слонялся по углам, озабоченный и удрученный. Такое с ним бывало всегда, когда он ничего не делал. И вдруг Володя оживился, давай что-то искать у дома, под домом, на чердаке. Нашел обломок выщербленного бруска и на гладкой стороне его начал доводить до «вострия» лезвие ржавого перочинного ножа. Насучил из ниток дратвы, сел починять свои изорванные бродни. На Кваркуш Володя отправился в новеньких аккуратных бродежках, за дорогу от воды, от огня у костров они разбухли, покоробились и теперь походили на растоптанные лапти.

У Вани Первого вчера сошел с верхнего правого века последний ячмень. От этих ячменей на веках у него почти не осталось ресниц. Но на это ни сам Ваня, ни кто другой не обращали внимания. Ваня тоже не привык бездельничать, сидел посреди пола, латал телогрейку. В толстой хомутной игле была непомерно длинная нитка, прoderнуть ее не хватало размаха рук,

и Ване каждый раз приходилось вставать и вытягивать нитку стоя.

Ваня починил не только свою телогрейку, но и телогрейку Юрки Бондаренко, который отказался лежать после операции — втихомолку надевал чужие сапоги, ускользал с глаз Абросимовича и то помогал одной рукой Вовке Сабянину пилить дрова, то подметал еловым венником пол, то уезжал на незаседланной лошади на выгон к пастухам.

Коля Дробников отсыпался. Даже, кажется, выпустил в эти дни из-под неустанного наблюдения Толю Мурзина. Придет с пастбища, поест в сторонке, безуспешно понщет глазами Толю — и спать. А Толю и впрямь трудно застать на месте. И все он что-то выдумывает, все что-то ищет. Вчера ускакал на коне к Вогульской сопке, привез кучу оленьих рогов; вечером терпеливо выслушал выговор Абросимовича, пообещал больше не самовольничать, а утром взобрался на вершину каменистой горы вблизи «Командировки». Там и увидели мы его, стоящего на остроконечном пике, со сложенными на груди руками.

— И откуда в нем эта дурь? — дивился Абросимович, и в голосе его звучало больше восхищения, чем тревоги. Однако Борковский тут же выломил прут и решительно зашагал к горе.

Настоящее благоденствие настало для Сашки Смирнова. Никто не гоняет, никто не ругает. Делать нечего. Проснется утром этак часиков в десять, думает: то ли умыться, то ли не стоит? Но Сашка не отлынивает ни от какой работы. Надо — пойдет пасти телят, надо — нарубит дров и принесет воды. Только не торопится, все делает с прохладцей. Может так час работать, а может и весь день. И не устанет. И ни разу не вспотеет.

Если есть желание, Сашка посудит о жизни, о хар-

чах с Александром Афанасьевичем, попробует затеять разговор с Борисом. Правда, это редко ему удается — Патокин все занят, а Борис не особенно расположен к беседам. Сашка сам видит это и лишний раз на глазах не трется. Дни проходят за едой и сном. А ест он подолгу, с чувством перетирая зубами жирное мясо. Потом залезает на печь и лежит на теплых кирпичках, прислушивается, как переваривается в желудке пища.

А сегодня в обед выдумщик Толя Мурзин напоил Сашку чаем с «лимоном».

Сашка толкался возле костра, мешая Александру Афанасьевичу выкладывать каменку для копчения мяса. Толя подошел к Сашке и сказал:

— Хошь, я тебя чаем с лимоном напою?

— Где он у тебя, лимон-то?— недоверчиво спросил Сашка.

— Твое дело сказать: хошь, нет?

— Ну, хочу...

— Так и говори. Иди пока, попаси за меня телят. Когда заварю, крикну тебя.

Сашка опять подозрительно уставился на Толю, покосился на его карманы.

— Сперва покажи лимон.

— Не веришь?— Толя прикусил губу, вытянул шею и провел ниже своего подбородка ребром ладони. Это означало клятву.

Как только Сашка скрылся за кустами, Толя подбежал к муравейнику, захватил полные пригоршни больших рыжих муравьев, поднес к костру и ссыпал их в котелок с кипятком. Поварил маленько и процедил воду через тряпку в другой котелок. Тряпку с отваренными муравьями сунул под камень. Все шито-крыто, чай с «лимоном» готов.

Толя вышел на пригорок и позвал Сашку.

— Уже упрел?— удивился Сашка.

— Конечно!— весело ответил Толя и договорил стихами:— Папаху шить — не шубу шить, для друга можно поспешить...

Сашка сидел на камне, широко раскинув короткие ноги, прихлебывая из кружки чай и от удовольствия закатывал глаза.

— Ну как?— спрашивал Толя.

— Да ничего, такой кисленький...— просопел через нос Сашка.— Только пошто лимон вытащил?

— В другой раз заварим...

Когда Сашка опорожнил вторую кружку, Толя покровительственно сказал:

— Ладно, так и быть, отдам тебе заварку.— Он вытащил из-под камня почерневшую тряпицу и положил Сашке на колени. Сашка отставил кружку, утер рукавом губы, развернул тряпку и... оторопело заморгал редкими ресницами.

— Это же... это же муравьи!

— А ты что думал?— невозмутимо ответил Толя.— Где я тут тебе настоящий лимон возьму? Все равно— возьми лимоны, возьми муравьев— одна у них кислота... Полезная, в общем.

Сашка вскочил, засунул в рот два пальца. Но тошноты вызвать не мог, и для порядка только икнул. И пошел себе.

Ребята, узнав об этом, смеялись, разыгрывая Сашку, и смотрели на него, как на обреченного. А он ничего, не умирал, ходил да еще похлопывал по тугому брюшку ладошкой.

— Я раз пойла коровьего по ошибке напился— и то ничего,— хвастался Сашка,— а это чо-о! Теперь сам буду заваривать чай с «лимоном».

Не смеялся один Коля Антипов. Увидев сваренных

муравьев, он болезненно сморщился, а потом подошел к Толе вплотную и сказал с дрожью в голосе:

— Эх ты, живодер! И зачем только тебя в поход взяли!

И тут что-то произошло, ребята сразу перестали смеяться, все куда-то заторопились, пошли от костра, не глядя друг на друга, не замечая обескураженного Толю.

Погода понемногу направлялась. В разрывах низких туч нет-нет да и покажется высокое летнее небо. Тогда на склоны гор полосами падает обильный солнечный свет. Ветер стих, лишь иногда низом Кваркуша тянуло прохладной сыростью. К вечеру небо совсем очистилось от туч, многоярусными слоями они отодвинулись к северо-востоку и там, в далекой дали, осели на белые вершины Большого Кваркуша.

С хорошей погодой мы ждали пастухов. Подойдут они не сегодня-завтра. А приход пастухов — это сухари, это возвращение домой. Ребятам порядком надоела и «Командировка», и горы, и здешние обложные туманы. Их утомляло однообразие и вынужденное безделье.

А Санчик по-прежнему был весел и бодр — вечером они с Ануфриевым помогут в бане и погонят оленей домой, на Язьвинские поляны. Погонят ночью — в июне, в ясную погоду, ночи светлые. Даже лучше ночью, тихо.

Яков Матвеевич давно нашел оленей. Они паслись на молодых мхах у Вогульской сопки. Без людей, на просторе, диковатыми становятся эти олени. Держатся настороже и чуть чего — то ли собаку чужую завидят, то ли незнакомых людей — задают драпака. Несутся сломя голову, тесной лавиной, — только стук от рогов стопт! Маломощных вихлястых оленят оставляют позади, а сами бегут.

Но чем хороши — пасти их не надо. Следи, знай, куда идут. А они не останутся голодными. Травы нет — мху наедятся, мха нет — и так не помрут. Никакой загон им не нужен, не страшны ни дождь, ни снег! — Шведовня не задожжит, оленей гнать нада, — уверенно сказал Санчик, когда мы втроем вышли на улицу.

— Откуда ты знаешь? — спросил я.

— Глаза у тебя зачем? — опять возмутился Санчик. — Не видишь, что ли, мурашки везде гуляют? Вона, вона! — И он показал сначала на обогретый солнцем угол дома, затем под ноги на дорожку. Верно, по бревнам и по земле бегали муравьи.

Мы вышли пристрелять оптический прицел моего тройника. Он сбился при падении с лошади на Кваркуше. Яков Матвеевич повесил на распахнутые двери сарая негодную проржавевшую бадью, и я открыл по ней пристрелочную пальбу. Пули ложились неровно: то выше, то ниже. Это разозлило Санчика.

— Штой! — остановил он. — Плохо! Я буду шстрелять.

Санчик забежал в дом, выскочил с порожней бутылкой, побежал к сараю, поставил ее на дверь рядом с бадьей. Это была четвертинка из-под водки, много дней Санчик таскал ее в рюкзаке вместо посуды и в другое время просто так бы не бросил. А сейчас, подогреваемый желанием во что бы то ни стало доказать, как надо стрелять, не пожалел. Вымеренные Ануфриевым сто пятьдесят метров оказались пустяковым расстоянием для наметанного глаза потомственного охотника. С первого выстрела из своей короткостволой малокалиберки Санчик вдребезги разнес бутылку.

Меткий выстрел Санчика разжег в свою очередь огонек задора в душе Якова Матвеевича.

— Из мелкашки попасть что-о,— небрежно протянул он и снял с плеча «тулку», ту самую, из которой Санчик стрелял медведицу. Мы не успели ни о чем подумать, не успели моргнуть — мгновенный дуллет навскидку снес с двери бадью и отбросил ее далеко в сторону.

— Вот так надо! — гордо сказал Ануфриев, продувая стволы.

Поздно вечером мы расстались с Яковым Матвеевичем и Санчиком. Олени уже были на гребне, лежали в розовом свете закатного солнца на мшанике. А по ту и по другую сторону отдохавших животных, как стражи, сидели черными изваяниями Север и Соболь.

Проводить «вогулов» вышли все. Трогательно обнялись два больших мужика, два больших друга — учитель и пастух. Яков Матвеевич долго тряс руку Серафима. Ровно год не увидятся они, а встретятся здесь же, на Кваркуше, так же обнимутся, присядут рядом и не спросят друг друга о прожитом, а спросят: «Как живешь?»

Гости сели на оленей и, не оглядываясь, поехали по протоптанной телятами дорожке. Мы смотрели им вслед. Непонятное чувство теснило в груди сердце. Его испытываешь всякий раз, провожая в дальнюю дорогу близких, родных людей.

Когда Ануфриев и Санчик скрылись за леском, вдруг вскочил, бросился вдогонку им Шарик. Пробежал немного, сел посреди дороги и, терзаемый двойственным желанием, бежать ли за ними или остаться здесь, растерянно завыл.

— До свидания! Спасибо за помощь! — дружно прокричали мы.



Проклятый ош не дремлет

Прошло еще три дня, а пастухи не приезжали. Погода стояла хотя и прохладная, но устойчивая — солнечные нежаркие дни сменялись светлыми холодными ночами. В такие ночи все вокруг видно, как днем, и только небо над головой не голубое, не серое, а зеленоватое, как морская вода. Ночью сильно охлаждается земля, в долинах и распадках между гор поднимается туман. Он крыльями парящей белой птицы вытягивается над лугами. Не раз за ночь эта большая спокойная птица проплывет низом Кваркуша, не раз опустится на спящую «Командировку».

Коротая время, ребята переделали все, что надо было и что можно было сделать. Гена Второй заклеил всем сапоги, Ваня Первый починил фуфайки, Филоненко-Сачковский и Александр Афанасьевич наварили и накоптили впрок медвежатины. У стены дома стояла поленица заготовленного сушья — уже не для себя, для пастухов. Вечерами ребята забирали «трубу» — так они называли оптический прицел от ружья, поднимались на плато Кваркуша и смотрели на первую поляну: не покажется ли долгожданная смена? Но смена не приходила.

Вовка Сабянин, возглавлявший эти дозоры, установил расписание. По расписанию стали ходить на дежурство два раза в день.

Абросимович успокаивал ребят, когда они возвращались с Кваркуша с неизменным «не видно»:

— Придут, никуда не денутся. И сухариков подбросят. Ох, и заварим тюрю из сухарей!

В эти дни и у Борковского было время для этюдов. Он забирал ящик с красками по уступчатой, выбитой копытами телят тропе поднимался на стланиковую марь, удобно располагаясь на гладких камнях и писал. На бугорках и высотках здесь ветер начисто сдул землю, обкатал, отшлифовал песком камни. Они лежали в грудах, возвышались пирамидами, угрюмо торчали из земли поодиночке, тяжелые и диковинные, как языческие идо­лы. Не знаю почему, но мне эти огромные, замысловато источенные камни напоминали развалины фантастического города Атлантиды, и почему-то хотелось думать, что здесь был именно город, пускай не древней Атлантиды, затопленной морем, а другой, наш, северный, существовавший много веков назад.

Борковский приходил сюда вечерами и каждый раз, усевшись на знакомое место, долго не мог войти в работу, не решался сделать первый мазок.

Как всегда, он отправлялся на этюды один и не говорил, куда уходит. Эта «конспирация» оберегала его от многочисленных советчиков и критиков. Когда Серафима Амвросиевича и его ящика не было дома, все знали, что он рисует, и о нем не беспокоились.

И только Коля Антипов, этот странный мальчик, с удивительно обостренным восприятием, всегда взволнованный от переполнявших его чувств, терял покой. Непонятно было, чего Коле не хватало, что томило его. Он, вероятно, и сам не смог бы этого объяснить, но мне

казалось, что ему все-таки надо быть поближе к Борковскому, особенно, когда тот пишет.

И я показал Коле тропинку на марь.

Он подошел к нему в поздний час, когда село солнце и небо мягко переливалось огнями, подошел тихо, почти крадучись и замер на почтительном расстоянии, готовый в любую минуту уйти. Мальчик был уверен, что Абросимович не видит его, а если увидит, сразу же отправит домой.

— Ну, чего ты там, иди сюда,— вдруг позвал Борковский. Он не обернулся, даже не поднял головы и сказал это так, будто Коля уже давно был рядом и лишь сейчас отошел в сторонку.

Коля осмотрелся — его ли зовут? — нерешительно подошел к учителю.

— Вы меня?

— А кого больше? Одни мы тут, полуночники, в такую пору. Птицы — и те спят. Ну, как мои камни полочаются?

Мальчик впился расширенными глазами в яркое полотно и от восторга приоткрыл рот.

— Что молчишь? Получилось, нет?

— Как... как вы умеете... — выдохнул Коля и, не находя слов, что сказать дальше, неожиданно попросил: — Можно, я буду подавать вам кисточки? Я не перепутаю...

Борковский внимательно посмотрел Коле в глаза.

— Можно. Можно, дружище, — согласился он, — вместе у нас наверняка веселее пойдет дело. Держи кисти!

И Абросимович понимающе похлопал Колю по плечу.

Борис все еще недомогал. Вроде бы не больной, но и не здоровый. Вечерами он долго не мог уснуть, воро-

чался, курил, а утром не мог встать с постели. И вот взялся лечить Бориса Борковский. Дал слово избавить его от хвори.

Серафим долго колдовал над пакетиками с медикаментами, сортировал их, толк ложкой, пересыпал что-то из пакетиков на бумажки, с бумажек опять в пакетики. Никого близко не подпускал к подоконнику, где разложил это добро, никого не слушал. Потом все сложил обратно в аптечку и унес ее в баню.

Сухим смольем Абросимович так нажарил баню, что с наружной стороны на бревнах выступила смола. И увел Бориса. Мы не знаем, как он там «избавлял» его, только вернулись они не скоро, оба непохожие на себя — красные, обессилевшие, с распухшими от пара лицами.

Всю ночь Борис спал, не повернулся, не шевельнулся. А утром встал свежий, отдохнувший и удивленный своим младенчески-легким состоянием.

— Вот знахарь, а! — восторгался Борис. — Вот алхимик! Ни одной старухе не верил, а он... Будто пуд свалил с плеч...

Весь день он был на ногах. Рубил дрова, варил с Патокиным обед, дурачился с ребятами, сходил на выпас к телятам, а вечером взял ружье и первый раз поднялся на Кваркуш. Вернулся ночью, уставший, но бодрый, шутил, рассказывал анекдоты. А когда все легли спать, Борис достал бумагу, расчистил на столе уголок, сел писать. Писал при свете северной белой ночи, под храп спящих.

Я засыпал, улавливая среди нестройного храпа бойкое шуршание пера по бумаге, открывал глаза, видел на фоне окна широкую спину Бориса, и на душе у меня было так же легко, как в ту ночь на Осиновке, когда в палатке пахло стародубами.

Рано утром Шарик известил спящую «Командировку» о прибытии каравана вьючных лошадей. Все, как от сирены, повскакивали с лежанок, кинулись к окнам. У дома стояли завьюченные кони. Люди в плащах, в шапках отстегивали ремни, сбрасывали на землю мешки.

Кое-как одевшись, на босу ногу надернув сапоги, мы высыпали на крыльцо. Пастухов приехало пять человек, четверо из них — ребята-подростки. И только один — медлительный пожилой мужчина, с крупным лицом, с сильными руками. Пожилой пастух неторопливо поднимал с земли сырые тяжелые мешки и короткими уверенными взмахами бросал их на завалину, под навес.

Борковский спустился с крыльца, поздоровался.

— Ночью ехали?

— Всяко было: и днем, и ночью, — ответил старший. — Нету дороги, как хошь добирайся.

Мы помогли перетаскать в сени мешки, сбрую, увели на луг лошадей. Все вошли в дом.

— Для вас готовят спасательную экспедицию, — сказал Марк Леонидович (так звали старшего пастуха). Он с трудом стянул с плеч задубелый плащ. Под плащом на нем было пальто, под пальто — фуфайка. Что-то толстое было и под фуфайкой, но Марк Леонидович не стал снимать ее.

— Третьёго дни директор школы так и сказал: «Отправим вас, будем наряжать спасательную экспедицию». Вам навстречу, значит, подмогу вышлют. У нас ведь там все дожди, дожди. Из избы не выйдешь.

Борковский неожиданно вскипел:

— Какого черта там еще придумывают! Сухарей привез, нет?

— Взяли маленько. Сам знаешь, каково лишнее-то везти.

— Сколько маленько?

— Ну, мешок. Пока хватит вам, а дорогой встретите экспедицию... Там не только сухари, шаньги везут...

— «Экспедицию» — передразнил Борковский и с грохотом высыпал на стол из-под лавки деревянные ложки — Два мешка заберем у вас сухарей, а вы ждите свою экспедицию. Мяса оставим.

Марк Леонидович промолчал, потянулся к ведру с супом.

И мы бы уехали с полян, считая задание выполненным, уехали бы с чистой совестью и хорошим настроением, но в последний день случилась беда. Обжитая людная «Командировка», разные заботы, непогода усыпили нашу бдительность, отвлекли от главного — охраны стада. Мы уже давно не жгли на пастбищах костры, кое-как запирали на ночь ворота скотника. И за это поплатились: медведь задрал теленка. Это было дерзкое нападение, среди бела дня, чуть не в самой «Командировке».

И хотя с приходом пастухов мы не несли прямой ответственности за телят, этот случай все же сильно огорчил нас всех. Мы ли не хранили колхозное стадо, мы ли не оберегали его в дороге — и вот тебе! На самом финише! Проклятый ош сделал свое дело.

Узнали об этом в полдень. Мы уже завьючили коней и в полном сборе сидели на крыльце, поджидая ушедших к телятам Абросимовича и Марка Леонидовича. Борковский давал пастуху последние наказания. Они недосчитались теленка, пошли поискать и натолкнулись на его свежий труп.

— Что, голубчики, прокараулили? — с укором выпалил Борковский, подойдя к дому, и бросил Патокину на колени телячье ухо с круглой металлической бляхой. Такими бляхами были помечены все наши телята.

Ребята роем окружили Борковского.

— Не спешите,—остановил он их.— Поздно! Теперь без вас обойдутся. Чтобы ноги ничьей не было за сараем.

Мы вошли в избу. Борковский бесцеремонно стащил с меня патронташ, протянул его Марку Леонидовичу.

— Выбирай.

Марк Леонидович придирчиво осматривал папковые патроны, для верности щелкал по ним желтым от табачного дыма ногтем, тряс возле уха. И все-таки спросил:

— Надежные?

— Вполне, но в них дробь.

— Это переделаем, пули всуну. Порох как, сухой, нет?

— Они только вынуты из коробки, коробка была залита воском. Должны быть сухие.

Пастух повернул в пустой угол стволы «ижевки», померил патроны по патронникам.

— Пойдут.

Мы выковыривали пыжи из этих патронов, высыпали дробь, а вместо нее вставляли плохо обкатанные круглые пули. Патроны с пулями были и у Марка Леонидовича, но старые, подмоченные за дорогу. Потом мы сели на лошадей, поехали к задранному теленку. Поехали на лошадях для предосторожности: следы человека могли отпугнуть осторожного зверя. Теленок лежал в ста метрах от скотника, в редком березняке, наскоро припорошенный мхом и травой. Косолапый разбойник пытался оттащить тушу подальше, но что-то помешало ему. По смятой траве, по клочьям шерсти, разбросанной там и тут, легко было восстановить картину неравного поединка.

...Вот уже несколько дней зверю не давали покоя

телята. Он видел их днем на выпасе, слышал мычание ночью в скотнике и смелел все больше. Когда ребята гнали телят на отдых в загон, крался к загону и медведь. Но днем лаяли собаки, ходили люди, и медведь боялся нападать на животных.

Утро последнего дня он таился на краю пастбища в неглубоком заросшем овражке. В полдень телята знакомой тропой направились к загону на отдых, а люди, привыкшие к их смирению, ушли к дому еще раньше. Зверь потихоньку, стороной опередил телят и прилег у изгороди.

Стадо пошло в загон левым отсеком, и лишь одна телка пошла правым. Крыло прясел увело ее вниз, в бурьян. И она вышла прямо на притаившегося здесь медведя.

Недолгой была схватка. Ошеломленная страхом телка не успела пикнуть. Огромным прыжком зверь подоспел к жертве и обрушился на нее многопудовой тяжестью...

— Справишься?— тихо спросил Борковский Марка Леонидовича.— Без помощников обойдешься?

Пастух обидчиво натянул толстые губы.

— Неуж впервой, Абросимович? Зачем спрашиваешь? Завечеряет и сяду. А вы отправляйтесь с богом.

Не думали мы, что будет такое расставание с полянами. Проклятый ош не дремлет. Отдали пастухам почти все дробовые патроны, банку пороха и выехали. Сегодня мы успеем дойти только до первой поляны, переночуем в избушке, а уж завтра двинем к дому. Успеть бы уйти с гор, пока стоит хорошая погода, пока не вышла навстречу никому не нужная спасательная «экспедиция».



Домой

Ходко идут отдохнувшие лошади, даже хромой старый Тяни-Толкай поджимает передних. У него похрустывают в суставах коленки, будто там не кости, а сырая картошка. Гарцует, порываясь вперед, шалый Петька, равнодушной рысью шлепает по земле стертymi подковами мохноногая Машка.

Вся наша «кавалерия» в хорошей форме — кони сытые, полные сил, а главное — полны желания поскорей добраться до родных конюшен.

На каждой лошади по два человека. С нами, взрослыми, идет один Сашка Смирнов. Он сам отказался ехать: второй день страдает расстройством желудка. Ребята смеются, но Сашке не до смеха. Пройдет с полкилометра — и за куст. Мы ждем его. Сашка осунулся, по-стариковски скрючился. Теперь он на всякий случай не застегивает на пряжку штаны, придерживает их рукой. Вчера Абросимович давал ему какие-то таблетки от поноса — не помогли. В животе его уркает и булькает, словно там переливают воду.

Мы опять остановились, поджидая Сашку.

— Ну так что, друг, дотянешь, нет до избышки?—

спросил Абросимович.— Там я достану тебе черемухового корья. Здорово помогает!

Сашка печально посмотрел на него из-под редких ресниц впалыми влажными глазами и ничего не ответил.

— Надо, Саша, все-таки знать меру,— осторожно усоевстил его Абросимович.— Сколько ты вчера съел мяса?

— Не знаю. Может, кило, может, больше... Жареное ел...

К дому на первой поляне мы пришли вечером. Пришли на час позже каравана. Болезнь и двенадцать километров так вымотали Сашку, что напоследок он садился за каждую колодину. Уложили его на нары, Серафим дал ему закрепляющее, а сам пошел за корьем.

Мы развели костер, заварили в двух ведрах сухарницу с луком. После ужина еще долго сидели у костра, пили чай, слушали всегда новые и всегда интересные рассказы Бориса, а сами нет-нет да и посматривали на лес в ту сторону, куда ушел Абросимович. Но он не возвращался.

Вечер незаметно перешел в ночь, небо опять сделалось зеленым, из лугов потянуло холодом. В густой траве, в логу, громко скрипели коростели, где-то в небе барашком блял токующий бекас. Появились совы. Они совсем не боялись людей, бесшумными тенями кружили над костром.

Вдруг далеко, там, где «Командировка», прогремели два выстрела. Певучим эхом откликнулись горы. Минута— и еще выстрел. И сразу все догадались: стреляет Марк Леонидович. По медведю. Все почему-то притихли, будто боялись помешать охотнику, вершившему возмездие за теленка. Ждали четвертого выстрела. Тихо.

— Конец ошу,— сказал Александр Афанасьевич и поднялся.— От Марка еще не уходил ни один медведь.

Рассказывают, будто он в молодости на покосе колом уложил косолапого. Тертый мужик в этом деле.

Патокин с ребятами пошли спать, а мы с Борисом отправились на луг перевязать лошадей. Благодать здесь животным: ни мошек, ни комаров. Правда, лошади по привычке все же размахивают хвостами, но это просто так. (Они ведь лошади, привыкли работать, они даже спят стоя).

У Тяни-Толкая болят суставы. Ему не до еды. Он низко опустил тяжелую угловатую голову, спутанная челка закрывает его полуприщуренные страдальческие глаза. Тяни-Толкай медленно переступает с ноги на ногу, иногда поднимает одну ногу и так держит ее на весу. Мы не стали его перевязывать, отвязали совсем. И он поковылял за нами к дому, бухая по влажной земле подковами, раскачиваясь, как старая колымага.

Мы снова сели у догорающего костра ждать Абримовича. Мерин стоял напротив и думал, пошевеливая мягкими бархатными ноздрями, идти ли ему отдыхать в сарай или лучше прилечь здесь. Он не мог решить этой задачи сам, обошел костер и сзади доверчиво положил голову Борису на плечо.

— Шел бы ты в сарай, там все же деревянный пол, отдохнешь как следует,— как человеку, сочувственно сказал Борис и погладил мерина по морде. Тяни-Толкай еще немножко подумал и послушался, пошел в сарай, долго гремел по доскам и, наконец, грузно лег.

Перевалило за полночь. Заря переместилась к востоку и вставала над горами новым днем. А Борковский все не возвращался.

— Может быть, устал, прилег где или заблудился?— неуверенно сказал Борис.

Вряд ли это могло быть. Борковский знает здешние леса на сто верст в округе не хуже родной деревни, а

насчет того, что устал и прилег отдохнуть — ~~В~~овсе не верилось. Не такой Абросимович человек.

И мы больше не думали об этом.

Ночью несколько раз выбегал из дома Сашка, придерживая штаны, стремглав летел за угол. Когда мы вошли в дом, он лежал уже не на нарах, а на полу у порога — на всякий случай.

Борковский вернулся утром, мокрый с головы до пят, с полным рюкзаком черемуховой коры.

— Ну, как больной? — спросил он Сашку и ласково прищурил усталые глаза. — Сейчас мы тебе заваруху сделаем.

Мы быстро растеплили потухший костер, поставили в котелке воду. Борковский присел на чурбак, прикурив от уголька и, пригретый, задремал.

— Куда же ты ходил? — поинтересовался Борис. — Где растут эти черемухи?

— Не так далеко, на речке Золотанке. Напрямуюто, пожалуй, и двадцати километров не наберется...

До тошноты горький, черемуховый отвар Сашка пил неохотно, морщился, кривил губы. А Абросимович нахваливал:

— Аромат-то какой — кофе и только! А действие от него какое, знаешь? Не хуже женьшеня! — Попутно Абросимович рассказал Сашке и о женьшене и еще о какой-то чудодейственной траве, а сам все подливал ему.

— Не могу больше, — наотрез отказался Сашка пить четвертую кружку отвара. — Прогорклое больно, не идет...

Сашку опять уложили на нары, и он сразу заснул.

Мы тоже прилегли и тоже мгновенно заснули. Этот убийственный утренний сон пролетел, как миг. Проснулись поздно, а казалось, только сейчас легли. В

открытые двери светило ослепительное солнце. Оно уже давно разогнало туман в логу, обсушило травы. Прозрачный воздух гудел ожившими насекомыми.

Я спрыгнул с нар и тут увидел, что в избе мы с Борисом одни. Неясно я слышал, когда вставали и уходили ребята, но не было большого Сашки, не было и Серафима. Сашке, наверно, стало полегче, а Серафим опять не спал. С улицы доносился его командирский голос:

— Кто не чистил зубы — два шага вперед! Мишка, Сашка, Валерка — марш к колодезю!

Уж не Сашку ли Смирнова гоняет Абросимович? Так и есть. Ребята стояли в шеренге, а Сашка, широко расставляя короткие ноги носками в стороны, лениво плелся за Валеркой Мурзиным и Мишкой Паутовым к ключу чистить зубы. Абросимович смотрел ему в спину, и глаза его светились радостью — не зря, видно, сходил он до Золотанки.

С той поры Сашка медвежьих шашлыков больше не ел и утратил интерес к беседам с шеф-поваром.

Когда мы шли вперед, думали, что обратно идти будет одно удовольствие — налегке, без телят, под гору. Ошиблись мы. Как-то совсем незаметно миновали сухой спуск от полян, тут лошади местами даже бежали рысью, и подошли на подступы к Ошмысу. Началась непролазная грязь, свежие ветроломы, шумные, вздувшиеся от дождей ручьи, топкие залитые водой болотины. Теперь лошади уже не спешили, не порывались идти впереди, а осторожно прощупывали ногами дно в лужах, в нерешительности останавливались. И только Петька спешил и спешил, прыгал без разбору. Такая отчаянность немало ему и стоила. Без счету раз

он падал, напарывался на сучья, застревал ногами в скрытых под водой камнях. Но мы как умели подбадривали Петьку и помогали ему сохранить взятый темп, потому что от его хода зависел ход других лошадей. За ним они шли смелее.

Решено было не останавливаться на Слутке, сделать небольшой привал на Усть-Цепёле и к вечеру дойти до Усть-Осиновки. При переходе от Слутки до Усть-Цепёла, в сплошных болотах, мы едва не простились с Тяни-Толкаем. Старый невозвратливый конь не сумел пройти по мокрому настилу через бурлящий проток, поскользнулся, с силой ударился коленями о бревна. Гнилые бревна не выдержали, настил рухнул. Конь свалился в воду. Ну, хорошо бы упал на ноги, на бок, а то на спину! Вода захлестнула его. Тяни-Толкай бился, махал задранными ногами, но подняться не мог — обломки бревен придавили его.

И тут произошло неожиданное: Сашка Смирнов, наш Филоненко-Сачковский, который только-только оправился от болезни, ухнул в чем был в воду и давай расталкивать тяжелые ослизлые остатки бревенчатого настила. Это было так неожиданно, что растерялся даже всегда собранный Абросимович. Зачем-то схватил лежавшую у ног палку, тут же бросил и, белея, заорал на Сашку:

— Вылезай сейчас же, голодранец! Выпорю!

Но крик его потонул в шуме взорвавшегося фонтаном потока — все тринадцать ребятишек были в воде. И уже никакая сила, никакая власть не могли воздействовать на них, заставить вернуться на берег. Юрка Бондаренко, держа над головой забинтованную руку, по уши погрузился в воду, что-то искал другой, здоровой рукой под брюхом лошади. И выдернул повод. Ребята цепко ухватились за него, потянули. Тем

временем Александр Афанасьевич распутал на шее Тяни-Толкая аркан, бросил длинный конец нам: тащите! И вдруг в этой ребячьей суতোлке озорно и протяжно раздалось:

— Тя-ни, тол-кай! Тя-ни, тол-кай!— Нескладная разноголосица подхватила клич, и он зазвучал как молодецкое «взяли!», сливая в единые размеренные порывы натугу семнадцати человек.

Волоком вытащенный на отмель конь буйно заперевирал ногами и вскочил. Громким чихом вознаградил ребят за усердие и медленно поднялся на рыхлый илистый берег.

Пока снимали с Тяни-Толкая седло, рассматривали на его груди и боках ссадины, Борковский ругал Сашку. Тот виновато молчал. Но с каждым словом голос Абросимовича становился мягче, с лица сходила напущенная суровость.

— Ну, ладно,— сказал он примирительно,— выпорот тебя отец дома, а я воздержусь. Смелый ты, оказываешься, парень...

Он хотел еще что-то сказать, но тут бросились к Сашке с похвалами ребята, и Абросимович только махнул рукой:

— Да ну вас, циркачи...

Возбужденные происшествием, ребята долго не могли успокоиться и вроде бы сами удивлялись: как это все могло произойти? Центром внимания был Сашка, все расхваливали его. А Валерка Мурзин пробился через плотное кольцо ребят, вытащил из глубокого кармана маленький значок с изображением Юрия Гагарина и, как высшую награду, вручил его Сашке.

— На, насовсем! Чинно ты, гад, действовал...

Донельзя польщенный Филоненко-Сачковский героем топал до Усть-Осиновки, начисто отвергая все

предложения сесть на любую из шести лошадей.

До Усть-Цепёла мы добрались поздно вечером. Разложили на берегу костры, прополоскали грязную одежду. Развесили над огнем штаны, куртки, сели на траву пообедать.

— Саша, может быть, отведаешь копченого мяса?— спросил Александр Афанасьевич и, сдерживая улыбку, поджал губы.— А то бери, для тебя не жалко...

Сашка громко икнул и торопливо запил водой разжеванную рыбу.

Сегодня мы начали расходовать НЗ. В строгой неприкосновенности шеф-повар хранил пять банок тушенки, столько же рыбных консервов, целлофановый мешочек сахара и еще что-то, о чем он помалкивал. Патокин вообще не любил говорить, что у него хранилось в тайнике; добрый, из черного дерматина куль он оберегал пуще глаза: ложился спать — черный куль под голову, вьючил коней — черный куль на Машку. Из всех лошадей он доверял этот груз только Машке, сам приторачивал его к седлу и в дороге старался не выпускать лошадь из виду. И вот содержимое куля Александр Афанасьевич пустил в оборот. Пора. На следующей стоянке у нас оставлено немного продуктов.

Борковский торопил. Мы оделись в еще сырую, горячую одежду и пошли дальше. Может быть, лучше было бы заночевать на Цепёле, но беспокоило известие о высылке нам навстречу спасательного отряда. В самом деле, как не спешить: из Верх-Язьвы выступили первого июня, а сегодня уже двадцать седьмое. Запаздываем на десять дней, а впереди еще вся дорога. Конечно, дома знают, что держит нас непогода, но знают и то, что такое Кваркуш, тайга. Не хотелось нам встретить «спасителей», хотелось прийти раньше, чем они выйдут. И мы спешили.

На длинных спусках и перевалах Кайбыш-Чурка нас накрыл внезапный ливень. Сплюснутая и круглая, как гриб, туча с белесоватыми начёсами по краям подкрасилась из-за лесистых увалов и грянула над головой оглушительными взрывами грома. Хлынул отвесный дождь. Сразу стемнело. По вырубам, прижимая к земле траву, понеслись пузыристые ручьи.

Мы укрылись под густыми елями, но дождь не прекращался. Ветки скоро намокли, с них закапали крупные капли. На подмогу первой туче выползла из-за горы другая. Они соединились и наглухо закрыли небо.

— Пойдемте,— сказал Борковский,— теперь его не переждешь.

Лишь во втором часу ночи мы добрались до Усть-Осиновки. Меж деревьев тускло блестела свинцовой тяжестью Язьва. Она гудела и грохотала, упорно стремилась выйти из теснившего ее русла. В мутных потоках плыли ветки, коренья, древесные стволы — все, что могла собрать на своем пути разбушевавшаяся река.

Вспучилась, разлилась, зароптала недобрым говором и Осиновка. Теперь это уже не безобидная речка, это горная своенравная река, способная свалить, закружить, расшибить о камни лошадь.

Мы бродили по берегу Осиновки, искали переправу: на той стороне выпас, там оставлено продовольствие и еще — там готовые кольца для палаток. Сейчас, когда от усталости трудно сделать лишний шаг, готовые кольца тоже имеют цену.

И вот место для переправы выбрано. В русле здесь много камней, но разлив широкий, напор воды меньше. Александр Афанасьевич первый перебрался на противоположный пологий берег и перевел свою Машку.

Очутившись на берегу одна, Машка призывно заржала. Мы посадили часть ребят на лошадей и благополучно прошли по следу. Затем вернулись и забрали остальных ребят.

Надо было ставить палатки, но не поднимались руки, и мы тесной кучкой сидели на мокрой траве. Рядом лежали измученные кони. Дождь перестал, воздух заметно остывал, от разогретых спин лошадей валил пар.

Тут и произошел тот случай, о котором я упоминал вначале. Володя Ванин встал и, тяжело передвигая ноги в разбухших броднях, пошел за кольями. Но их на месте не оказалось. Володя растерянно посмотрел по сторонам, спросил:

— Кто взял колья?

Все молчали. Володя снова спросил. Опять никто не ответил. А когда стали разбрасывать на траве палатки, заметили, что другой Володя, Сабянин, что-то прячет.

Он прятал колья. Он хотел сложить их настилом под свою палатку.

Тогда Володя подошел к нему и в третий раз спросил:

— Не видел, кто взял колья?

— Я взял,— вызывающе ответил другой Володя.— Они уже на месте, можешь новые рубить.

— Так ведь они же общие, для всех! — отчаянно воскликнул Володя, и в глазах его блеснули слезы. Хотел что-то еще сказать, но обида для него была настолько большой, что он не выдержал и заплакал.

Мы понимали, ребята устали, немного им нужно для ссоры. Надо было вмешаться взрослым. Но мы не успели: вспыхнувшую ссору рассудили сами ребята. Они, как по сигналу, бросили работу, тесно, плечо к

плечу окружили Вовку Сабянина. Нахохлились, насто-
рожились, будто молодые петушки перед дракой. Вов-
ка тоже насторожился, но попытался изобразить на ли-
це спокойную усмешку. Он уже юноша, рослый, широ-
коплечий, на голову выше каждого и уверен: «мелюз-
га» не посмеет ему перечить.

А посмела.

— Принеси колья! — решительно потребовал Толя Мурзин.

Вовка не шевельнулся.

— Принеси! — повторил Коля Антипов.

— Оглох, что ли? — смело пропищал Витька Шат-
ров.

И вдруг все разом:

— Принесешь, нет?

И Вовка дрогнул, заколебался.

— Ну, чего вам от меня?

— Принеси колья, тебе говорят! — устрашающе про-
шипел Филоненко-Сачковский и выпятил худую грудь.

Вовка принес колья, со стуком бросил ребятам под
ноги.

— Что еще прикажете?

— Извинись перед Бурбоном, — мрачно сказал
Саня Третий. И с расстановкой добавил: — По-ка не
позд-но...

И тут Вовка сдался. Нарочитая улыбка исчезла,
руки безвольно опустились по швам. Понял, здесь гор-
лом не возьмешь.

— Ну... ну хватит вам... — сбивчиво заговорил он. —
Чего пристали? Ну, извинюсь, если надо... И колья
нарублю. Давайте ставить палатки...



Встреча

Палатки наши стояли на подмостках: снизу слой жердей, на жердях — толстая подушка из елового лапника. Только так вода не просачивалась под брезент. Спали в мокрой одежде, укрывшись мокрыми одеялами. Но спали крепко.

Перед утром я все же околел, вылез из-под одеяла и долго не мог сообразить, почему так просела палатка. Притронулся рукой к стене — звенит. С силой качнул ее — по скатам зашуршал снег.

Пробрался к выходу, отстегнул с деревянных застежек полог — и не поверил глазам: вокруг все сияло мягкой слепящей белизной. Ветви деревьев прогнулись под тяжестью снежной кучты, полегли придавленные снегом травы. Невероятно черной казалась река, глубоко погруженная в белые пушистые берега. Высокое розоватое небо холодно отражало лучи невидимого за лесом солнца.

Еще все спали. Возле палаток ни следышка. Живы ли? Я подбежал к слабо чадившему костровищу и начал дубасить палкой по подвешенному на тагане ведру. Так нас всегда поднимал Борковский.

Закачалась, загудела сонными голосами большая

палатка, вылетел, как на пожар, Абросимович, посыпали ребята. Борковский, распыывая рыхлый снег, подбежал к костру.

— Что?!

— Ничего. Вставать пора.

— Какая там пора! Ребят заморозим! Подье-ом!— громко прокричал он, хотя нужды в этом уже не было: все повыскакивали на поляну. И ожил бивак, закишел муравейником. Никто не ждал указаний, никто не спрашивал, за что братья, что делать. Затрещал валежник, загремели ведра, вспыхнули жарким спасительным пламенем костры. И только потом все заохали, удивленные таким неожиданным переломом погоды.

— Это нас так провожает вогульский бог,— сказал Александр Афанасьевич, отогревая над пламенем ооченевшие красные руки.— Памятливый, сатана. Не отдали теленка, вот и припоминает...

— Как не отдали?— возразил Сашка Смирнов.— Теленка ухлопал ош, еще мало?

— Теленка пастухи съедят, а оша Марк Леонидович уложил. Значит, богу опять ничего не досталось.

— У ёк, король!— обругал бога Сашка и погрозил в небо кулаком.

Лошади, запутав арканы, стояли разрозненным табунком в редком молодом осиннике на берегу. Спины их покрылись ледяной коркой и блестели, будто укрытые чепраками.

— Кто со мной?— позвал Абросимович, озорно подбежал к Петьке, отхватил ножом у самой его шеи стылую скрученную веревку, запрыгнул на него, молодецки пришпорил каблуками. Застоявшийся конь попятился, заплясал и рванул неуверенным галопом. Вскочили на лошадей Вовка Сабянин, Толя Мурзин, вскарабкались, помогая друг другу, Витька Шатров и Юрка Бон-

даренко. И «кавалерия» с гиканьем, визгом понеслась вперегонки по заснеженной поляне.

Никто не заметил, а может быть, никто не пожелал сесть на стоявшего в ожидании Тяни-Толкая. Тогда он вышел из осинника сам, тряхнул сонной головой и тяжело поскакал за лошадьми — тоже погреться. Старый конь всегда забывал, что на ногах у него нет пут, и прыгал, как связанный, высоко выбрасывая вместе обе передние ноги.

Шарик вспомнил об оставленном на дереве мешке с продовольствием, нашел то дерево, залаял. Мы сняли мешок. В нем было несколько банок сгущенного молока, немного сухарей. Но бересту, которой был укрыт мешок, сорвало ветром и сухари размочило дождем. Эту хлебную кашу отдали за старание Шарик, а молоко шеф-повар вылил в ведра с чаем.

Снег днем растаял и наквасил на вырубке грязи по брюхо лошадям. Люди пробирались по краям, а лошадям обхода нет — все забито буреломом. Умаялись и люди, и лошади, но шли без остановок: ведь уже сегодня вечером мы будем в Колчиме. А Колчим — это дом.

Всю вину за непогоду, за свои беды ребята сваливали на вогульского бога и крыли его на чем свет стоит.

— Балда он, а не бог! — выговаривал Толя Мурзин и показывал на торчащий в прорехе сапога палец. — Неуж не видит, сапоги совсем изорвались, а он снегу насыпал...

— Дурак он! — поддерживал Юрка Бондаренко. — Несознательный какой-то, а еще бог! Не понимает, что ли, что телушек надо было гнать на поляны. И рука у меня законно из-за него болит.

Филоненко-Сачковский, запинаясь за валежины, всякий раз вспоминал бога длинным ругательством:

— У ёк, король, бог вогульский, чурка безглазая, замерзнуть не можешь на Кваркуше...

Мы замечали: в Сашке происходила какая-то перемена. Будто в нем вспыхнул и разгорался живой огонек, пробуждал от долгого сна, освобождал от томительной скуки и апатии, незримо связывал его с ребятами. Уже не было в нем той отчужденности, того безразличия, с каким он отправился в поход. И лень отступила. Его стало все интересовать, везде до всего ему стало дело. Теперь Сашка уже не пройдет мимо, если упала лошадь, первый, хоть в грязь, хоть в воду, бросится помочь товарищу. Изменилось к нему и отношение ребят. Его перестали подчеркнуто выделять. Обращались к нему, как к равному. И Сашка спешил на зов, хлопотал, бежал, готовый хоть треснуть да сделать то, что от него требовалось.

Эту перемену, пожалуй, лучше других видел Абросимович. Но он не утруждал Сашку лишними обязанностями, наоборот, давая ребятам указания, обходил его. И тогда Сашка брался за дело сам, успевал и там, и тут, а потом, в удобную минутку, спрашивал у Серафима:

— А мне-то что делать?

Нам же Абросимович сказал:

— Видали, как оздоравливает ребят эта работушка? А ведь Сашку считают самым пустяковым парнишкой в селе. Не советовали мне брать его на Кваркуш...

Был уже вечер, а мы шли и шли. Казалось, что вот сейчас покажется за поворотом знакомая горушка с пирамидой белых камней — и мы увидим впереди Тулымскую полянку. Но попадались горушки, попадались каменные пирамиды, а полянки не было. Все они, крутые, каменистые, с наломанным по склонам лесом, походили одна на другую.

На горбатых перевалах Кузмашшера просека стала суше, меньше завалена буреломом, и ребята ехали верхом. Ехали по двое — один в седле, другой — на крупе. Изредка на ходу менялись местами. Самая сильная и спокойная кобыла Сивка везла троих.

Но вот и Тулымская полянка, уже вся вытравленная, взрыхленная копытами телят. После нас не одно стадо делало здесь пристанище на пути к альпийским лугам. С верхнего ее края, как на ладони, виден внизу, на вырубленной пустоши Колчим. Над домами висит вечерний дым, по улицам ходят люди, у дворов стоят пришедшие с пастбища коровы и, наверное, мычат, вызывая хозяек. И хозяйки с подойниками спешат к ним, подают, наверное, кусочки посоленного хлеба и так же, как Серафим, ласково, нараспев тянут: «Теля, теля, теля...». Все обычно, обыденно, и все же мы невольно засмотрелись на Колчим: отвыкли от такого житья. И вдруг — не то показалось, не то в самом деле — откуда-то пахнуло печеным хлебом, парным молоком, теплом протопленных изб. Сашка Смирнов потянул носом, обтер рукавом запекшиеся губы и проговорил тихо, глотая накопившуюся во рту слюну:

— Эх, кабы сейчас краюшку горячего хлебца... с молочком бы...

В этот раз над Сашкой не засмеялись.

Мы отпустили на поляну лошадей и сели под ель на разостланные палатки закусить. Борис достал из рюкзака непромокаемый пакет. В нем было все на крайний случай: бинт, спички, две пачки сигарет, обойма пулевых патронов, четыре плитки шоколада. Раскрыть этот пакет мы имели право только в самую трудную минуту. Но теперь ее уже не будет: под горой, в пяти километрах — Колчим.

Пока Борис сдирал с плиток шуршащую серебри-

стую обертку, ребята не сводили с него глаз. Дивная штука, да и бумажки такие красивые. Они собирали с земли эти бумажки, разглаживали.

— Ёшьте, это ваше,— Борис положил шоколад на круг.

— Спасибо! — хором ответили ребята.— Мы не любим сладкое, зубы болят... Пришлось Борису самому делить шоколад всем поровну.

Мы уже рассаживали ребят по коням, когда заметили на склоне горы двух всадников, ехавших от Колчима. На поводу за ними шли три завьюченные лошади.

— Вот и «спасители» наши жалуют,— первым догадался Серафим и с такой силой потянул расслабленную подругу, что чуть не свалил лошадь.

Он не ошибся: ехала обещанная Марком Леонидовичем «спасательная экспедиция». Ребята заволновались, узнав во всадниках директора школы и дядю Мишу из правления колхоза.

— Все живы? — первым делом спросил директор, для вящей убедительности пересчитывая ребят.

— А вы там живы, нет? — задал ему встречный вопрос Борковский. Лицо у Абросимовича небритое, загрубевшее от ветров, на худых скулах проступают рубчатые желваки. А одежда — грязные лохмотья. Он насмешливо смотрит на «спасителей» в новых плащах и добрых сапогах.— Кто вас просил с вашими услугами?

Но тут директор неожиданно схватил Борковского за плечи и долго тряс его, не разжимая сильных рук.

— Знаю я тебя, Абросимович! Знал, что будешь шуметь. Но, пойми, нельзя иначе. Все сроки вышли...

Потом к Абросимовичу порывисто подошел плотный, широкоплечий дядя Миша. Озорно подмигнув столпившимся ребятам карим глазом, он вдруг сгреб учителя в охапку и давай кружиться с ним, приговаривая:

— На сердитых воду возят... Дай-ко я на тебя взгляну, мил человек!

Серафим Амвросиевич выскользнул из его объятий.

— Вот на кого смотреть надо! — и он за рукав потащил дядю Мишу к ребятам.

— Ну, брат ты мой, с ними будет особая встреча. Дай только до дому добраться...

В Колчине заканчивалась наша двадцативосьмидневная одиссея. Лошадей угонят завтра, а мы уедем в Верх-Язвю на машине. Машина ждет нас с утра.

До Колчина все шли пешком. Усталости уже никто не чувствовал. Ребята на ходу жевали домашние кральки, угощали нас, наперебой рассказывали директору и дяде Мише свои приключения.

И, глядя на этих оборванных, полуразутых ребят, на этих малолетних героев, думалось: «Вот пройдут годы, эти парнишки вырастут, войдут в большую жизнь. И заботы у них будут большими. Но разве забудут они походы на Кваркуш, своего учителя? Нет, не забудут. Навсегда сохранят они в памяти эти дни увлекательного, полного романтики труда, не раз вспомнят Серафима Амвросиевича благодарным словом».



ОГЛАВЛЕНИЕ

Не забудьте варежки!	5
Почем фунт мяса?	9
Ночное шествие	15
Деняшер — Тулымская полянка	25
К Золотому Камню	32
Через Кайбыш-Чурок	48
Цепёльские поляны	63
Вогульский бог сердает	79
По Кваркушу	88
«Без мяса не возвращайтесь»	105
Юрке делают операцию	114
Проклятый ош не дремлет	126
Домой	134
Встреча	145

Леонид Аристархович ФОМИН

Мы идем на Кваркуш

Редактор *А. М. Граевский.*
Художественный редактор
М. В. Тарасова. Технический
редактор *Л. К. Крамаренко.*
Корректор *Г. А. Синягина.*

Сдано в набор 5. V. 1966 г. Подписано в печать 3/VIII 1966 г.
Формат бумаги тип. № 2 70×108¹/₃₂. Бум. л. 2,375, печ. л. 4,75
(усл.-прив. л. 6,5075), уч.-изд. л. 6,427.

ЛБ02332

Тираж 50 000 экз.

Цена 29 коп.

Зак. 3721

Типография изд-ва «Звезда», г. Пермь, ул. Дружбы, 34.